

0417120-1



В. Ш А Д А И Н О В

ПОСЛЕДНИЕ

С 417725 - 1

В. ШАЛАГИНОВ

ПОСЛЕДНИЕ

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Новосибирск. 1973

www.elan-kazak.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

Читатель уже знаком с книгой В. Шалагинова «Конец атамана Анненкова», выпущенной Западно-Сибирским книжным издательством в 1969 г. На материалах судебного процесса над белоказачьим атаманом автор восстановил картину чудовищных зверств и произвола, которые учинялись Анненковым и ему подобными над рабочими и крестьянами Сибири.

И вот перед нами новая книга В. К. Шалагинова — «Последние». Общее в ней с «Конец атамана Анненкова» то, что она также написана на материале суда и о белогвардейских палачах. В «Последних» воссоздаются эпизоды заключительного этапа гражданской войны в Сибири. В основе книги — судебный процесс в Новониколаевске над белыми генералами Бакичем, Смольниным, Тервандом, Степановым-Разумником и их сообщниками.

В августе 1921 г. известный палач барон Унгерн фон Штернберг со своим штабом был взят советскими войсками в плен. Сибревком обратился к В. И. Ленину с просьбой разрешить организовать судебный процесс над Унгерном в Сибири, в Новониколаевске, придавая процессу большое политическое значение.

26 августа 1921 г. В. И. Ленин продиктовал по телефону «Предложение в Политбюро ЦК РКП(б) о предании суду Унгерна», в котором говорилось: «Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения и в случае, если доказанность полнейшая, в чем, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять».

Политбюро ЦК РКП(б) приняло предложение В. И. Ленина. Суд над Унгерном состоялся 15 сентября 1921 г. в Новониколаевске. В роли государственного обвинителя выступал крупный деятель партии, член Сиббюро ЦК РКП(б) Емельян Ярославский. В процессе над Бакичем и другими обвинителем тоже выступал Ярославский.

В «Последних» В. Шалагинов как бы раскрывает краткий тезис третьего тома «Истории Сибири»: «Напряженное положение оставалось на Крайнем Востоке советской Сибири. Здесь иностраный империализм прощупывал молодое Советское государство с помощью белогвардейских соединений Семенова, Унгерна, Бакича, А. Пепеляева и других».

«Последние» — это не историческое исследование, а публицистическое произведение. В связи с этим требуются некоторые пояснения.

После разгрома войск Колчака международный империализм и остатки внутренней контрреволюции разрабатывали планы дальнейшей борьбы против Советской республики. Из осколков колчаковских войск, каппелевцев атаман Семенов сформировал три корпуса. Он установил связь с японцами, заручился их поддержкой и поспешно сфабриковал так называемое «Правительство Восточной Российской окраины», избрав местом его пребывания Читу. При этом Семенов действовал согласно указу Колчака, который, видя полный крах своего похода, передал власть на востоке атаману Семенову. Общеизвестно, что авантюра Семенова потерпела полный провал.

Одновременно в районе Китая и Монголии концентрировались белогвардейские силы, оттесненные сюда Красной Армией, разгромившей Колчака. Среди них — Оренбургский корпус под командованием генерала Бакича и так называемая народная дивизия под командованием полковника Гноевых. Согласовывая свои действия с Унгерном, белым атаманом-погромщиком Кайгородовым, монгольским богдо-гэгэном, одним из китайских губернаторов, Бакич и его сподвижники вели активную борьбу против Советской республики.

Читатель обратит внимание в «Последних» на связь белогвардейщины с партией эсеров. мелкобуржуазные партии эсеров и меньшевиков в годы гражданской войны, в том числе в Сибири, сыграли подлейшую роль как пособники и прямые соучастники преступлений против рабочих и крестьян.

Планы выступления против революции в России международный империализм начал разрабатывать уже в конце 1917 г. Сибири в этом плане отводилось одно из первых мест. 29 ноября 1917 г. газета «Таймс» писала, что для союзников очень важно войти в сношения «через Персию и через Транссибирскую железную дорогу» с силами, способными вести борьбу против Советской республики. В зарубежной печати широко пропагандировался план помощи внутренним контрреволюционным силам со стороны Японии и США. Опять же через Транссибирскую железную дорогу. Замысел сводился к тому, чтобы «создать из Азиатской России противовес Европейской России» — писала «Дейли Мейль» 5 марта 1918 г.

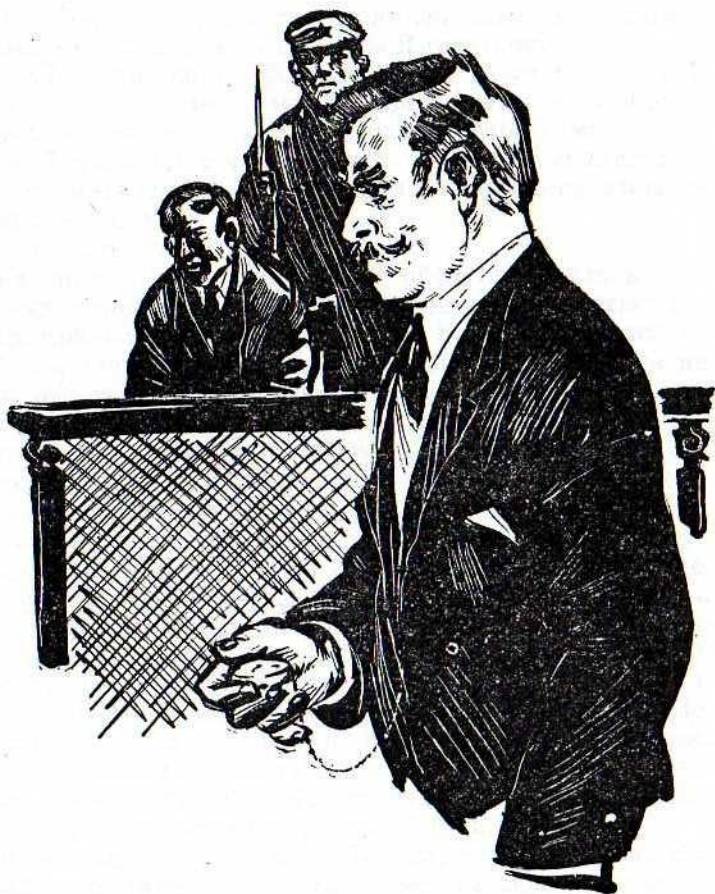
В связи с этим французскому шпиону в Сибири Пишону было поручено изучить и выяснить, на какие силы в Сибири могут опереться интервенты. Пишон пришел к выводу, что наряду с ориентацией на кадетов, не представлявших в Сибири серьезной силы, нужно обратить внимание на партию эсеров. Он начал переговоры с лидерами сибирских эсеров и убедился, что с ними легко можно будет договориться о совместных действиях против Советской власти.

Сразу же после победы Октябрьской революции сибирские эсеры и меньшевики выступили как активная и боевая антисоветская сила. Они принимали участие во всех контрреволюционных комбинациях: возглавляли так называемое Сибирское правительство в период «демократической контрреволюции» и расчистили дорогу диктатуре Колчака, сотрудничали с Колчаком, пытались всеми силами и средствами спасти Колчака и его режим после разгрома колчаковской армии, были подручными у Семенова, Унгерна, Бакича и других белых генералов, сотрудничали с белочехами, японскими и американскими интервентами.

В. И. Ленин клеймил позором измену и предательство эсеров, меньшевиков и требовал применения к ним самых суровых мер, предания их суду вместе с белогвардейцами. Не случайно поэтому в книге «Последние» совпадение суда над правыми эсерами в Москве и над белыми генералами в Новониколаевске.

В. Шалагинов описывает события более чем полувековой давности. Но, читая его книгу, верим: перед судом истории предстанут и современные палачи свобододолюбивых народов.

Профессор М. Шорников



КОНЕЦ АТАМАНА АННЕНКОВА

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ГЛАВКОВЕРХ

Жилет из тонкой палевой шерсти. Галстук. Манишка. Только одежда и говорит суду, что свидетель — лицо штатское. Совслужащий. Все остальное — осанка, холеный бобр, добротные усы фельдфебеля — изобличает в нем человека, десятилетиями носившего военный мундир. Достав из жилетного кармана массивные часы темного, чеканного серебра, свидетель щелкает крышкой.

— Три войны и кафедра в Академии генштаба, — говорит он, обращаясь к председательствующему, — приучили меня к точности. Если Борис Владимирович... виноват, если подсудимый Анненков намеревается и дальше оспаривать, скажу мягче, подвергать сомнению день, который я назвал здесь и в который к нему, к Анненкову, мною была действительно направлена инспекция полковника Церетели, я готов доказать истинность своего утверждения. Вот тут на внутренней крышке часов гравером поставлена дата. Это день, когда я стал владельцем этой вещицы. Полковник Церетели докладывал мне, что в уединенной беседе с Анненковым он как-то заметил ему, что дата на моих часах и день снаряжения инспекции совпадают. Так распорядился случай... Вы, конечно, помните и эту встречу, и эти слова, Борис Владимирович?

Анненков¹ склоняет голову в наигранном церемонном смирении: еще бы!

Председательствующий отрывается от пухлой папки с бумагами следствия.

— Свидетель Болдырев! К моменту инспекции Церетели, как это видно, отряд Анненкова был придан второму степному корпусу. Не скажете ли, по какой

схеме отряд и корпус подчинялись вам, Верховному главнокомандующему войсками Директории? ².

— Подчинение было и не было. Если говорить о корпусе, то он подчинялся Сибирской армии, а мне — соответственно через командующего этой армией.

— И все-таки к вам, именно к вам поступали жалобы от населения? Они касались бесчинств атаманщины, не так ли?

Болдырев медлит.

Массивные часы совершают обратный путь к жилетному карману. Пальцы привычно выправляют цепочку, краешек кармана. Еще раз. Еще. Как ответить?

Голая правда о бесчинствах — это приговор. Он не хотел бы выносить приговора Анненкову раньше судей. Часы, граверная строка на серебре помогают суду уточнить день выезда Церетели с инспекцией. Открыть глаза правосудию на эту сторону своей деятельности было необходимо. Судьи знают теперь: он не поощрял атаманщины, он инспектировал ее. Но что же дальше? Благоразумно ли сейчас выкладывать перед судьями весь портфель Церетели: всю правду о том, что нашел тогда инспектирующий в стане Анненкова — разорванные рты истязуемых, смрад пепелищ, убийства ради убийства, дань хлебом, страхом, утехами. Анненков злобен и мстителен. На портфель Церетели он способен ответить портфелем Анненкова. И так как человек этот наделен феноменальной памятью, ему нетрудно сообщить суду весьма пикантные детали из прошлых «заслуг» свидетеля. Что тогда?

Конечно, судебная кара Болдыреву не грозит. Выбитый из политического седла омским переворотом интервентов и Колчака, Верховный главнокомандующий войсками Директории тотчас же вышел тогда из большой игры. За походом омского правителя, его агонией и крахом он наблюдал из Японии. По возвращении в Россию был заключен в тюрьму. Амнистирован. Власти, конечно, знают, что в свое время он написал предназначенные правительствам союзных держав «Краткие соображения по вопросу о борьбе с большевизмом». Они знают о нем все, что нужно, и Анненков вряд ли способен посадить его подле себя. Но всякая неизвестная до сих пор страница его прошлой жизни, прочитанная здесь, может прозвучать сенсационно, доверие, которым он облечен сейчас на ответственном

посту в Сибирской плановой комиссии, будет поколеблено, либо падет вовсе, газеты и журналы, охотно печатающие его исследования и рефераты о сибирской пушнине, угле, золоте, откажут в своем сотрудничестве.

— Я отвечаю да,— говорит он.— В жалобах на атаманщину речь действительно шла о бесчинствах.

— О каких именно? — уточняет председательствующий.

— Церетели докладывал мне... Хм... В отношении Анненкова называлось несколько конкретных случаев... Хм... Я связываю их с неналаженностью снабжения. Лишенные необходимого довольствия, отряды силою вещей очень быстро теряли границы между своим и чужим и должны были переходить к реквизиции в широком понимании этого слова...

— Должны были?

— Так точно.

Прокурор, грузный бритоголовый человек в легком парусиновом френче, с настороженным ироническим вниманием следит за превращениями свидетеля, который то произносит слова обличения, то тут же берет их обратно. Порывшись в желтом бокастом портфеле, он кладет перед собой довольно солидную книгу в мягкой бледно-зеленой обложке.

Болдырев видит все эти приготовления, угадывает их смысл, и теперь весь его вид выражает крайнюю степень напряжения.

— Я зачитаю некоторые места из ваших мемуаров, свидетель,— говорит прокурор, раскрывая книгу.— Да, да, это ваши мемуары: «Директория, Колчак, интервенты». А вы, соответственно, прокомментируете то, что когда-то утверждали... Вот, скажем, на странице шестьдесят шестой: «Конфликт между Административным советом и Сибирской областной думой³ обостряется. Демократические круги считают Административный совет революционным, боятся военщины, особенно отряда Анненкова». Не сможете ли пояснить, почему демократические круги тогдашнего Омска боялись Анненкова?

— Административный совет — это фактическая, реальная и активная сила в Сибирском правительстве. И потому через штаб Сибирской армии она непосредственно и в значительной мере влияла на атаманские отряды Анненкова и Красильникова. Реакция распо-

лагала внушительной силой. Демократические же круги — я отношу к ним и эсеровскую часть Директории — никакой реальной силы не имели.

— Но ведь Анненков стоял в Семипалатинске?

— Семипалатинск соединяла с Омском вполне доступная для перевозок, хорошо охраняемая железная дорога. Да и в самом Омске превосходным и постоянным напоминанием об Анненкове был его штаб пополнения...

— Продолжим. Страница пятьдесят пятая. Читаю: «...каждый честолюбивый министр, как это мы видели в Омске, безнаказанно творил свою политику, маленькие атаманы чинили суд и расправу, пороли, жгли, облагали население поборами на свой личный страх, оставаясь безнаказанными». Правильно ли это утверждение?

— Совершенно правильно.

— Чинили суд и расправу, пороли, жгли, облагали население поборами — это об Анненкове?

— Вообще об атаманщине.

— Сейчас мы судим не всю атаманщину. Считаете ли вы, что подобная характеристика может быть распространена и на отряд Анненкова?

— Конечно... Я думаю... Я называл несколько примеров.

— Оцените их.

— Они не расходятся с процитированной характеристикой.

— Продолжим наши извлечения. У вас сказано: «Они были нужны, эти современные ландскнехты, они были готовой для найма реальной силой, им особенно покровительствовали в чисто мексиканской атмосфере Омска»... Как это понимать?

— Я должен сказать суду: моя книга — литературное произведение, а не документ...

— И литературное произведение, и документ. Честные мемуары всегда отражали историю. Ваш комментарий!

— В общем-то главная мысль этого куска остается, конечно, в силе и в применении к Анненкову. Никакое дело, как известно, не делается без материальной опоры.

— Последнее. Придя к выводу, что наиболее собранными и даже дисциплинированными — вы употреб-

ляете и этот термин — были в те годы части атаманов, вы находите необходимым подкрепить это свое утверждение такими словами: «Они учли общую расхлябанность, отсутствие организованной заботливости и давно перешагнули черту, отделявшую свое от чужого, дозволенное от запрещенного, утратив веру в органы снабжения, они просто и решительно перешли к способу реквизиции. Почти каждый день получались телеграммы о накладываемых этой вольницей контрибуциях. Они были сыты, хорошо одеты и не скучали». Вы подтверждаете это?

— В общем значении, разумеется.

— Значит, контрибуции накладывались, реквизиции производились. Но вот в объяснениях председательствующему вы говорили несколько иначе.

— Я докладывал здесь о смягчающих обстоятельствах: нет — надо брать. Это закон войны.

— Закон? В таком случае перевернем еще одну страничку. Вот: «Суровая дисциплина отряда основывалась, с одной стороны, на характере вождя, с другой, — на интернациональном, так сказать, составе его. Там были батальоны китайцев, афганцев и сербов. Это укрепляло положение атамана. В случае необходимости китайцы без особенного смущения расстреливали русских, афганцы — китайцев и наоборот». Что это? Тоже закон? Норма? Юридическое правило?

Болдырев, понурившись, молчит. Свидетельства бывшего главковерха становятся, помимо его воли, острием прокурорской атаки, книга мемуаров — доказательством обвинения. Приговором.

КТО ГЛАВНЫЙ ПРЕСТУПНИК?

Смутно встает из прошлого август двадцать седьмого года, Белый дом в Иркутске, где помещался тогда факультет права, толпы студентов у парадной лестницы, на площадке междуэтажья. Над фигурой стыдливой грации из серого камня — через всю стену большие прямоугольники ватмана с сообщениями об анненковском процессе в Семипалатинске. Ни одного из тех слов я не помню. Но вот переносу сейчас в тетрадь с пожухлой страницы «Советской Сибири»: «Вчера утром в Семипалатинск доставлен Анненков. Начи-

ная с Барнаула... везде находились свидетели зверств. На станции Алейская толпа требовала сурового наказания. В Поспелихе поезд встречен криками: «Где Анненков, покажите его!» — переносу и, кажется, повторяю, перечитываю громкие, звонкие листы ватмана в Белом доме.

На площадке у каменной грации постоянно спорили. Менялись листы ватмана, вырезки из газет, фотографии — менялись, соответственно, и запальные вопросы: Что скажет Болдырев? Все ли сказал Болдырев? Возможно ли решение изгнать Анненкова из страны?

Бурю страстей вызвал тогда рыжеволосый парнишка из Семипалатинска — это был студент первого курса. На процессе Анненкова он провел несколько дней, был на прениях сторон, слушал последние слова подсудимых и, делясь впечатлениями, показывал уникальные фотографии, которые там же, в Семипалатинске, купил из-под полы у предприимчивого нэпмана.

Один из этих снимков — Анненков среди телохранителей — помню и сейчас. Горстка вояк расположилась пирамидой. У ног атамана — он в светлом мундире, в большой светлой фуражке английского офицера, — справа и слева от него и даже над ним однообразные чубатые молодчики в шелковых китайских куртках с деревянными пуговицами. В руке верхнего, картинно брошенной на отлет, — черное знамя, на полотнище — скрещенные кости, череп и слова: «С нами бог!»

Спустя шестнадцать лет, в декабре сорок третьего я во второй раз встретил этот снимок. Новый его экземп-



Ляр я получил в дар от П. Цветкова, преподавателя юридической школы, адвоката, защищавшего Анненкова в семипалатинском процессе. В те дни отмечалось двадцатипятилетие военных трибуналов, я готовил реферат «Крупнейшие процессы над контрреволюцией», и потому четыре маленьких интервью, что я получил тогда у П. Цветкова, позволили мне увидеть и оценить явления, которые не всегда можно найти в стенограмме суда или в судебной хронике.

Минуло еще двадцать пять лет. Из старого реферата выбираю несколько страниц, разыскиваю в дневниках четыре маленьких интервью, ворошу папку с фотографиями... Теперь уже не серия громких процессов над контрреволюцией, а лишь один из них овладел моим вниманием.

Под рукой у меня шесть грузных томов анненковского дела, четыре — с материалами предварительного следствия, последние два, красный и зеленый, — с бумагами суда. В плотной кожаной папке зеленого тома — полторы тысячи страниц непомерно широкого, гроссбуховского, формата.

Это протокол судебного заседания.

Судили двоих. И вот как звучала формула обвинения:

«На основании изложенного, Анненков Борис Владимирович, 37 лет, бывший генерал-майор, происходящий из потомственных дворян Новгородской губернии, бывший командующий отдельной Семиреченской армией, холост, беспартийный, окончивший Одесский кадетский корпус в 1906 году и Московское Александровское училище в 1908 году;

Денисов Николай Александрович, 36 лет, бывший генерал-майор, происходящий из мещан Кинешемского уезда Клеванцовской волости Иваново-Вознесенской губернии, бывший начальник штаба отдельной Семиреченской армии, холост, беспартийный, окончивший... Петербургское Владимирское училище и ускоренные курсы Академии генштаба...

обвиняются:

первый, Анненков, в том, что с момента Октябрьской революции, находясь во главе организованных им вооруженных отрядов, систематически... с 1917 по 1920 год вел вооруженную борьбу с Советской властью в целях свержения ее, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 2 Положения о государственных преступлениях. И в том, что с момента Октябрьской революции, находясь во главе организованных им вооруженных отрядов... систематически на всем протяжении своего похода совершал массовое физическое уничтожение представителей Советской власти, деятелей рабоче-крестьянских организаций, от-

дельных граждан и вооруженной силой своего отряда подавлял восстания рабочих и крестьян, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 8 Положения о государственных преступлениях;

второй, Денисов, в том, что, находясь во время гражданской войны на начальствующих должностях в белых армиях и отрядах и будучи начальником штаба отдельной Семиреченской армии и карательных отрядов Анненкова, систематически... с 1918 по 1920 год вел вооруженную борьбу с Советской властью в целях ее свержения, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 2 Положения о государственных преступлениях, и в том, что состоял в должности начальника штаба отдельной Семиреченской армии и карательных отрядов Анненкова, которые производили систематически на всем протяжении своего похода массовое физическое уничтожение представителей Советской власти, деятелей рабоче-крестьянских организаций, отдельных граждан, подавляли восстания рабочих и крестьян, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 8 Положения о государственных преступлениях».

Процесс в Семипалатинске — это прежде всего и главным образом процесс атамана и лишь потом, вторым значением, процесс его подручного.

Какой же была внешняя канва жизни этого человека, оставившего после себя жупел анненковщины, страшную память о маниакальной жестокости, обращенной против рабочих и крестьян, о всевластии и произволе?

Он родился в большом барском доме на Киевщине в семье отставного полковника из дворян-помещиков. Праздность, кастовый дух военщины окружали его с первых дней жизни. Восьми лет от роду он нацепил вождеденный лампас и уже никогда не снимал его. Кадетский корпус в Одессе, Александровское училище в Москве, чин хорунжего и казачья сотня в Туркестане, война четырнадцатого года, чин есаула и та же сотня, теперь уже партизанская, в тылу у немцев, в районе Пинских болот. «Георгий». Георгиевское оружие.

Случайно поднятый в немецком блиндаже номер издававшихся в Петербурге «Биржевых ведомостей» с броским словом через всю полосу: «Революция!» озадачил его. Николай II отрекся от престола, власть захватили восставшие. Рухнуло то, чему он присягал и молился.

Что же дальше?

В красном томе — широкий квадратный пакет бутылочного цвета, в пакете за пятью нашлепками сургуча — «Колчаковщина», четырнадцать листов маши-

нописного сплошняка, именуемых записками. Автор этих страниц, присланных из Китая, — Анненков. В письме, что приложено к рукописи и заканчивается словами «с совершенным почтением И. Антонов», сказано, между прочим, что хотя «Колчаковщина» и написана в третьем лице, она носит характер чисто автобиографический. Подсудимый подтвердил это в судебном заседании.

Анненков рассказывает о себе в тоне старых, изрядно помпезных олеографий, что в изобилии украшали при царе стены казарм, вокзалов, дворянских, купеческих и офицерских собраний.



После февраля «доблестным жребием» отряда становится полицейско-комендантская служба в Осиповичах, Барановичах, Слуцке, порученная Анненкову личным распоряжением начальника казачьей дивизии князя Мышецкого. Князь Мышецкий терпит крушение, как его терпят все, кто представлял царя и Керенского, и после Октября уже новая — Советская — власть предписывает отряду сдать оружие и убыть в Омск для расформирования.

«Партизанский отряд атамана Анненкова, — читаем в «Колчаковщине», — сопровождаемый двумя броневиками «Красноармеец» и «Бей буржуев!», ушел с фронта в город Слуцк и стал грузиться для отправки в Сибирь. Приказ сдать оружие выполнен не был, и надо было ждать эксцессов...»

В большевистском Омске — ультиматум: доложить о причинах неповиновения, разоружиться немедленно, полно, безоговорочно. И на отказ Анненкова следовать этому требованию — решение Совказдепа (Совета казачьих депутатов): объявить отряд вне закона.

Подполье. Землянки станции Захламино под Омском. Контакты с контрреволюционной белогвардейской организацией «Тринадцать». Кажущаяся сплоченность отряда оборачивается междоусобицей, развалом. Казакам чужда окопная жизнь на родине, они открыто и тайно разбредаются по домам, поступают в красные полки. Чтобы сохранить остаток отряда, Анненков лихорадочно ищет «настоящего подвига». Ночью во главе горстки своих молодчиков предпринимает лишенный опасности налет на войсковой казачий собор в Омске и, завладев так называемым знаменем Ермака, уходит в Прииртышские степи.



Из болот и туманов Полесья, терзаемого немцами, он вышел с казачьей сотней. В Омске и под Омском сотня «съежилась» до размеров эскадрона и полуэскадрона, а в степи стала ватажкой «о пяти конях». Поддержанная кулацко-атаманской верхушкой Прииртышья, она пополнилась, развернулась, и к началу мятежа белочехов — это уже отряд в двести головорезов.

Бои в составе колчаковских войск на Верхне-Уральском фронте, усмирение черnodольских и славгородских крестьян в Сибири, полицейская служба в Семипалатинске, царствование на землях Семи рек... Отряд становится полком, дивизией, армией. Нарождаются полки драгунские, кирасирские, егерские, части голубых улан и черных гусар, но в этом нет и тени отзвуков Бородино или Грюнвальда. Это — усмирение. Только усмирение. Усмирение и расправа.

В Одессе кумиром пятнадцатилетнего кадета Анненкова был командующий войсками барон Каульбарс,

поражавший обывателей великим множеством орденов, осанкой завоевателя, старинной чернолаковой каретой, запряженной, по обыкновению, в четверку белейших рысаков, в которой он то и дело появлялся на приморских улицах.

Тогда, в первую русскую революцию, в народе ходила сатирическая песенка о Каульбарсе, требовавшем «самых решительных действий оружием» против восставших:

Жил в лесу свирепый барс,
А в Одессе Каульбарс.
Дикий барс людей съедал,
Каульбарс в людей стрелял.
Барсу пуля суждена,
Каульбарсу — ордена.

Кадет стал двойником Каульбарса. Как и барон, он стрелял теперь в людей, в тех же людей — рабочих и крестьян.

ЧЕРНЫЙ ДОЛ

Ленин писал:

«Расстрелы *десятков тысяч* рабочих... Порка крестьян целыми уездами. Публичная порка женщин. Полный разгул власти офицеров, помещичьих сынков. Грабеж без конца»⁴.

Это — о Колчаке и Деникине. И, конечно же, об Анненкове — хотя и не прямо, — постоянно ходившем в орбите верховного правителя.

Болдырев удостоверял это на суде не очень твердо. Зато с потрясающей силой прозвучало изобличение в рассказах тех, кого убивали и не убили, кто принес в суд знаки телесных и душевных ран.

Перед судом — Ольга Алексеевна Коленкова, пожилая крестьянка, свидетельница. Из-под линялого ситцевого платка — серо-седая прядь над серым лицом с бугристым шрамом через всю щеку. Она говорит медленно, трудно:

— Белые убили у меня двух сынов. Одному было двадцать два, другому пятнадцать. Меня взяли живую. Привязали к конскому хвосту.

— За шею? — спрашивает председательствующий.

— За ногу. За левую. Я успела ухватить детишек, и лошадь поволокла в сторону камышей. Запалилась,

В стояла два раза... Обо-
И рвали всю спину до кост-
ИХ тей... Потом кто-то от-
Р вязал меня, и я услыша-
да: «Иди за нами». Я по-
О няла: повели кончать
М Привели в камыши, я
2- перекрестилась, легла. Ес-
ли бы это было днем,
может быть, и прикон-
чили меня, но это была
ночь, ничего не видно...
У одного ребенка, у маль-
чика, руку отрубили, на
жиле держалась, так
он и умер потом в боль-
нице.

— Сколько ему было лет?

— Два годика, а вто-
рому четыре. Второму
перебили спинку. Сейчас
он горбатый.

— Чем били вас?

— Не помню, была
без памяти. Потом, когда
очнулась, услышала
команду, застучали брич-
ки, и все уехали в
город. Приехали санита-
ры. От меня уже несло гнилым. Мужики говорят:
«Пойдем к доктору, пусть он сделает что-нибудь, по-
тому как женщина никуда не годится. Загнила». При-
ходят санитары, давай обрезать мясо гнилое на шее,
на спине, а потом всю забинтовали и отправили в Сер-
гиополь. Выходит начальник, спрашивает санитаров:
«Что, родственницу привезли?» Ему подали записку
от доктора. Меня положили в больницу. Пролежала
два месяца. Спину и шею вылечили, а вот мальчику
моему руку так и не могли вылечить. Умер он...

Два венских стула, огороженные резными баляси-
нами парапета, два подсудимых.

Слева от них, справа и за ними — шестеро красно-
армейцев.





Анненков сидит, ноги на ногу, настороженный бледный, с лицом, будто вырезанным из белой бумаги. Некогда лихо атаманский чуб поубавился в пышности, сник впрочем, сник и сам атаман. Теперь он живет под впечатлением неодолимой власти тех, над кем он когда-то стоял с нагайкой, с клинком на ляжке, окруженный стадом лейб-атамановцев, давно уже утративших представление о цене человеческой жизни.

Крестьянка с бугристым рубцом через щеку пришла сюда не свидетельствовать, не жаловаться, не искать заступничества. Она пришла обвинять его, судить — он знал это. Здесь только судьи. На всем пути к Семипалатинску, возле здания суда, на площади, запруженной толпами народа, как и тут, в зале, — только судьи.

Газеты отмечали тогда, что в первые дни процесса Анненков давал объяснения очень тихим, едва различимым голосом.

Особенно унылую картину являл он собой, рассказывая об усмирении Чернодольского восстания⁵: слишком много очевидцев и жертв этой страшной кровавой «акции» присутствовало в зале.

Начавшееся в Черном Доле восстание тотчас же перекинулось в Славгород, затрапезный степной городишко, мирно дремавший у большой дороги. В базарный понедельник, именно в базарный, когда появление на улицах скопища чернодольских подвод могло и не привлечь внимания белогвардейщины, повстанцы ходко прошли краем базара и устремились к центру. Застигнутый врасплох, гарнизон белых пал, не оказав серьезного сопротивления. Обезоружив часовых, охранявших магазин купца Дитина, преобразенный властями в «тюремный централ местного значения», повстанцы посбивали замки и освободили из него всех,

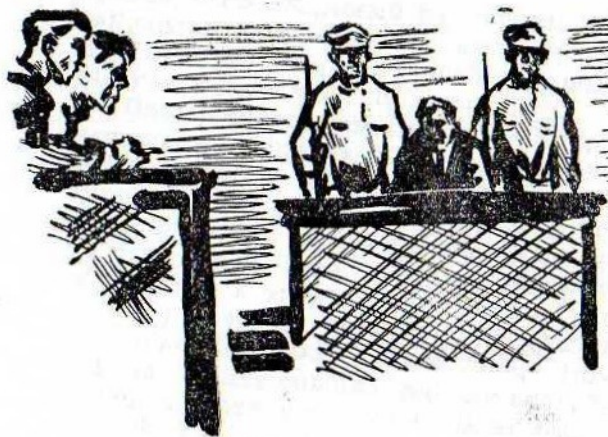


кто там был: бывших работников Совдепа, большевиков, красноармейцев.

Без промедления был образован военно-революционный штаб, избравший своей резиденцией село Черный Дол, которое встретило идею восстания куда сочувственней, чем сонный, обывательский Славгород. По уезду отправились посланцы штаба — ходоки-агитаторы, появились листовки, был назван день и час уездного съезда Советов.

А через какую-то неделю, погромыхая на мостах, вкрадчиво полз по плоской железнодорожной насыпи в сторону Славгорода длиннейший воинский маршрут с лошадьми и французскими мортирами на платформах.

— Я выступил по приказанию Иванова-Ринова, командующего войсками Сибирского правительства⁶, — говорил Анненков в суде. — При этом мне было сказано, — разговор шел по прямому проводу, — что я слеую в поддержку бригады полковника Зеленцова, которая, подойдя к Славгороду, оказалась неспособной овладеть Черным Долом. Не имея кавалерии, Зеленцов боялся бросить свой эшелон...



— Кто кому был придан в подчинение и по мощь? — спросил Анненкова адвокат.

— Начальником был я, — признался подсудимый. Перекрашивать черное в белое, когда это черное приобрело значение железного факта, хорошо известного не только в России, — слишком рискованное предприятие.

— Сколько повстанцев укрылось в Черном Доле? Вот это другое дело!

— По данным Иванова-Ринова, тысяч пятнадцать — поднялся весь Славгородский уезд.

— А по картине боя?

— Несколько меньше.

— Были укрепления в Черном Доле?

— Глинобитные стены вокруг деревни, баррикады на улицах.

— На них-то и напирали полки Зеленцова?

— Да. Зеленцов дважды шел приступом и оба раза терпел фиаско.

Анненков тщится предъявить суду свой вариант событий: не усмирение, а честный, равный бой. Между тем никакого боя в Черном Доле не было. Не было и баррикад, не говоря уже о глинобитных сооружениях. Военно-революционный штаб, имевший в своем арсенале чуть больше двадцати исправных винтовок, уклонился от боя. Повстанцы организованно отошли и укрылись в Волчихинском бору.

Свидетели говорят в пику тому, что говорил он



Теребило **Георгий Порфирьевич** (чернодольский большевик, поднимавший крестьян на восстание): К вечеру восьмого сентября село опустело. Почти все взрослые выехали, осталась самая малая часть старух да детворы. Ребяшня где-то насобирали старых берданок и засела в окопах — мальчишки лет по десять-одиннадцать. Я выгнал их, говорю, побьют вас всех ни за понюх табаку...

Орлов **Антон Семенович**: В тот день, когда Анненков двигался по железной дороге, я работал в Славгороде на чугунолитейном заводе. Сначала он зашел в Черный Дол. С завода эту деревню хорошо видно. Зашел и зажег ее в трех местах. Как только казаки поскакали на город, мы разбежались по домам. Под вечер ко мне ввалились анненковцы: «Сгноши-ка, хозяйшкa, чего-нибудь на ужин». Я по-хорошему заговорил с ними, так как сам с Дона. Что, спрашиваю, у вас? Мы, отвечают, за выборы, за Учредительное собрание. Что ж, говорю, Советская власть тоже казаков не обижает, право выборов за вами. Только вот при Учредительном собрании прибавляется нетрудовой элемент — помещики. Поговорили, разошлись. На следующее утро приходит офицер и два казака: «Вы арестованы, собирайтесь». Начинаю собираться. «Не надевай сапог, — говорит офицер, — тебя, твоего отца и брата — всех троих поведем на расстрел»...

Шаляпин **Яков Семенович**: Когда бежали от анненковцев, бывший следователь Красной гвардии Не-

красов, освобожденный из тюрьмы чернодольцами, становился у собора. Это была первая жертва каратари лей. Они раздели его, разрубили шашкой голову, мору вынули и положили на живот...

Полянский Семен Петрович: Народ бежал от Анненкова на бричках в сторону Ключинского тракта. Немного позже мне пришлось однажды ехать той же дорогой с почтой. За четыре версты до Славгорода стали попадаться трупы, порубленные шашками. Дорога на том месте была сжата в узкий проход, и трупы столпились в этом рукаве. Я слезал, стаскивал их на обочину, и только тогда ямщик двигался вперед...

Сибко Терентий Прокопьевич: Кочью пришел отряд. Захватили спящих, начали бить. Тут был мой сын двадцати пяти лет и отец. Отцу было девяносто. Начали бить и их. Потом отвели в сборню и держали до утра. Утром заставили земского ямщика запрячь лошадей, забрали арестованных, дали лопаты и велели рыть себе яму... Когда кончили отца, убили разрывными пулями и сына, ударила в грудь, вышла в спину.

В Славгородском и Павлодарском уездах анненковцы без суда и следствия убили 1667 человек. А потом в Татарск на железнодорожную развилку вслед за маршрутом с лошадьми и французскими мортирами потянулись десятки теплушек с новобранцами. Страхом и шомполами Анненков выгонял их из деревень, забирал, ставил под черное знамя.

Одиннадцать тысяч душ!

ЦЕНА ОПРАВДАНИЯ

27 июня 1919 года приказом № 147 Анненков объявил нижеследующий приказ генерала Деникина, именовавшего себя главнокомандующим вооруженными силами на юге России:

«Беспримерными подвигами добровольческих армий кубанских, донских, терских казаков и горских народов освобожден юг России, русские армии неудержимо движутся вперед к сердцу России. Спасение нашей Родины заключается в единой верховной власти и нераздельном с ним едином верховном командовании. Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье,

я подчиняюсь адмиралу Колчаку как верховному правителю русского государства и верховному главнокомандующему русскими армиями. Да благословит господь его крестный путь, да дарует спасение России!»

Объявляя деникинский приказ «для самого широкого и быстрого распространения», диктатор Семиречья не боится выказать свою зависимость от союза Деникин — Колчак, он поддерживает и разделяет идею консолидации контрреволюционных сил. Между тем тот же Болдырев наделял Анненкова чертами «чистого абсолютиста», не признававшего над собой ничьей и никакой власти. С одной стороны, маленький ландскнехт, готовый к найму, с другой, — вожак атаманщины с девизом: «На небе — бог, на земле — атаман».

По убеждению другого «деятеля белого движения» Г. Гинса, самостийный Анненков воскрешал своей фигурой определенные черты собирателя Запорожской сечи⁷. Верно ли все это?

Передо мной 397 листов анненковских приказов, отпечатанных типографским способом, — рыхлые от времени страницы в заплатках реставраторов, напоминающие своим цветом бакалейные кульки лавочников поры нэпа. Толстая крученая нитка собрала их в отдельный том. По нижней кромке многих приказов — рукописная строка: «Тождественность и достоверность документа подтверждаю. Анненков».

Что думал он, перечитывая свои приказы в камере следователя? Видел ли себя в прошлом неограниченным властелином, свободным от чужого диктата, зависимости и подчинения?

Очень сомнительно.

В заголовок своих мемуаров он вынес одно слово: «Колчаковщина». И этим все сказано. Он сам приковал себя к колеснице омского ставленника интервентов, был колчаковцем, монархистом. Книга его приказов — веское и доказательное тому подтверждение.

О чем бы ни решали в Омске — о военно-полевых судах, о добровольцах, о денежном обращении — и кто бы ни решал — сам Колчак, его Государственный совет, главный интендант или даже главный священник, — все это с чуткостью мембраны воспринималось штабом Анненкова, становилось приказом, типографской буквой, и на верблюдах, на лошадях отправлялось эстафетой во все уголки Семиречья.

— Но ведь Анненков не принял от Колчака предложенного ему генеральского чина? — возразит читатель, знакомый с процессом по сообщениям печати. Разве это не жест неприязни и самостоятельности?

Нет, конечно. Как выяснилось на суде, в отказе Анненкова было меньше всего борьбы и вызова. Он попросту колебался. Звонок Иванова-Ринова из штаба диктатуры Колчака и мог означать только одно: приглашение в опричники.

Анненков, воздержавшийся от поздравительной депешы в адрес «искателя трона», выжидал, присматривался и, растерявшись от неожиданного благодеяния, ответил «крылатой» бравадой:

— Я бы хотел получить генеральский чин из рук государя императора.

— Ну а позже? — спрашивали Анненкова в суде. — Вы отвели милость Колчака, а позже? Кто же сделал вас генералом?

— Колчак.

— Не странно ли, однако? Вы уклоняетесь от традиционной, по вашему выражению, обязанности поздравить Колчака с приходом к власти, а он открывает для вас двери своего генералитета?

— Я не был один. Поздравлений не прислали также атаманы Дутов и Семенов... Но обстановка прояснилась, и... пришлось...

— Что именно?

— Послать поздравления.

— Это сделали все трое?

— Насколько мне известно, да.

Не только переиздания приказов Колчака, но и все другие, собственно анненковские, сочинения, собранные в отдельном приказном томе, говорили суду о том, что Анненков плыл в общем фарватере контрреволюции, сибирской и несибирской. Он словом и делом утверждал объявленную «верховным правителем всей России» политику беспредельного, а порой и бессмысленного белого террора и даже разъяснял политическое «кредо» Колчака, изложенное в приказе от 5 мая 1919 года: «Правительство идет по пути, указанному адмиралом Колчаком при его вступлении в управление», сказавшим тогда, что он «не пойдет ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности»...

Анненков приказом запретил пьянство в отряде. Но турно-хмельный самогон и после этого лился рекой. Тогда последовал другой приказ: замеченных в пьянстве судить военно-полевым судом не за пьянство, а за неисполнение приказа атамана. Он пытался изводить Сурильщиков опиума, расстреливал кокаинистов. Крайние меры шли от чувства страха перед растущим набром красных войск.

У красных, по ту сторону фронта, гарантии порядка законности считались условием победы. Там жила повелевала страстная ленинская мысль-убеждение: чтобы до конца уничтожить Колчака и Деникина, необходимо соблюдать строжайший революционный порядок⁸.

Анненковщина же была понятием не совместимым законом. Нагнетая атмосферу всеобщего страха и репета, Анненков закрывал глаза на «проделки» подчиненных. «Атаманцы балуют», «атаманцы гуляют», — говорили каратели о своих сподвижниках.

И это значило — потеха, злорадное шутовство по поводу страданий человека, нередко трагических по своему исходу.

Для некоторых особей из этого стада смерть постоянного — пастуха, пахаря, жницы, ребенка — уже не была смертью, не печалила, не пугала и даже не оставляла внимания тем, что это была именно смерть, последний вздох, последний взгляд, земля, прах. Она лишь служила им предметом забавы, продолжением и дополнением утех и увеселений, способом управлять другими.

Из всего, что я прочел и услышал об этой стороне дела, я воспроизведу здесь только вот эти слова, эту часть судебного процесса.

Лебонт, полковой артельщик одной из анненковских частей, свидетель: Первая рота рассказывала: «Мы ее повели и утопили. Лезь, — говорим, — в прорубь, а она смеется».

Председательствующий: Не понял, кто смеется?

Лебонт: А женщина, которую повели топить. У нас по ночам всегда топили. Изнасилюют и говорят: «Прытай в прорубь»... Она думает, что шутят... И смеется.

Духовные категории и ценности не имели в этом мире ни цены, ни своего действительного значения: честное и правомерное то и дело объявлялось здесь

преступлением, а преступник выступал законодателем, причем чаще других это делал сам Анненков.

В отряде служил офицером некий Аполлонский или, по-другому, — Полло, артист из Одессы. Из той прекрасной Одессы, на бульварах которой начиналось отрочество и юность кадета Анненкова, а под купами дубов и платанов гарцевала его любимая четверка белейших рысаков, увлекая за собой музейную карету Каульбарса.

Анненкову показалось, что Полло большевик. Была спешно сколочена коллегия военно-полевого суда из пяти человек и назначен день процесса. От суда ожидался назидательный урок страха. Но, к собственному своему страху и растерянности, военно-полевой суд увидел перед собой голое место. Ни единой улики! Не оставалось другого, как вынести оправдательный приговор. Полло получил георгиевское оружие, которого был лишен при аресте, и направился в казарму.

Наутро, миновав ученого медведя и ординарца, председатель суда поднял полог юрты атамана. Предстояла далеко не безопасная проформа утверждения оправдательного приговора.

Заглянув молча в хвост бумаги, Анненков обмачнул перо в непроливашку. «Утвердить, — вывел он левее слова «приговор» и тут же добавил: «Повесить».

Спустя час на пробитой в мураве желтой плешине трое чубатых, приплясывая, уминали вокруг столба с перекладиной свежевскопанную землю, а саженный горнист в черном мундире пронзительно горнил общий сбор. Оправданный был повешен.

На этом месте я хотел бы сделать несколько странное извлечение из одной ленинской работы:

«Я говорю, что это есть экономическая программа, экономическая основа Колчака. Я утверждаю, что тот, кто читал Маркса... кто читал популяризацию Маркса хотя бы Каутским: «Экономическое учение Карла Маркса», тот должен будет прийти к тому, что, действительно, в момент, когда происходит революция пролетариата против буржуазии, когда свержается помещичья и капиталистическая собственность, когда голодает страна, разоренная четырехлетней империалистической войной, свобода торговли хлебом есть свобода капиталиста, свобода восстановления власти капитала. Это есть колчаковская экономическая программа, ибо Колчак держится не на воздухе».

И дальше:

«Довольно неумно порицать Колчака только за то, что он сильничал над рабочими и даже порол учительниц за то, что и сочувствовали большевикам. Это вульгарная защита демоктии, это глупые обвинения Колчака. Колчак действует теми особами, которые он находит. Но чем он держится экономически? Он держится свободой торговли...»⁹.

И, наконец:

«Колчак... разрешает свободу торговли хлебом и *свободу восстановления капитализма*»¹⁰.

Как и «верховный правитель», Анненков держался экономически свободой хлебной торговли, свободой восстановления капитализма, служил прошлому России это прошлое — суть и картину — восстанавливал по-местно.

Ярков, общественный обвинитель, говорил в своей речи:

— Действия Анненкова лучше его заявлений разъясняют его политику. Занимая новые районы, он прежде всего разгонял все избранные там исполкомы Советов, городские, волостные и сельские, и тут же вводил существовавшие при царском правительстве институты волостных, сельских старшин, городских управ и все прелести царского режима, вплоть до урядников и кандармов.

МУНДИР СНОСИЛСЯ

Вопрос Анненкову:

— Какие языки знаете, кроме русского?

Ответ:

— Английский, французский, мусульманский и китайский.

В «мексиканской атмосфере Омска», — выражение Болдырева, — а позже в Семипалатинске и Семиречье Анненков понимал куда больше слов, чем тот же Дедисов либо кто-то другой из его штаба. С французским генералом Дюрелем он изъяснялся по-французски, с английским полковником Уордом — по-английски. Приобретения, полученные в военном пансионате и кадетском корпусе, и положение атамана делали для него сравнительно доступной среду канадских, американ-

ских, английских и французских офицеров, глав и новников миссий — приемы, банкеты, парады, сообщения, инспекции...

Поэтому стенограмма четвертого дня процесса, где из медлительного рассказа Анненкова вставлена надменная и чопорная интервенция, фигуры Нокса Жанена, Грэвса и Танаки, изобиловала любопытными фактами.

Нокс и Жанен.

Глава британской и глава французской военных миссий в Сибири. Две фигуры — одна игральная карта в руках Антанты: валет вверху, валет внизу. Телеграммой «из Европы» за подписью Ллойд Джорджа, Клемансо, доставленной в «азиатский» Омск 13 декабря 1918 года, Ноксу и Жанену поручалось командование авангардом и арьергардом колчаковской армии. Правда, валет английский и валет французский не заняли открыто этих постов — для этого нашлись свои причины, — но белой смутой, белой армией и белым адмиралом они вертели, как им хотелось. «Твердый» лицедей Нокс делал это на положении главного лица в тайной «войне умов»: он ведал разведкой, соединяя ее с контролем за прифронтовыми железными дорогами и снабжением трехсоттысячной армии «верховного правителя» по фондам из Англии. Своя упряжка была и у Жанена.

В пункте 2 соглашения союзных правительств Колчаком стояло:

«В интересах обеспечения единства действий на всем фронте русское верховное командование будет согласовывать свою оперативную тактику с общими директивами, сообщенными генералом Жаненом, представителем междусоюзнического верховного командования»¹¹. И дальше: «... генерал Жанен будет иметь право осуществлять общий контроль на фронте и в тылу».

Независимость Колчака была «ценностью» больше, чем призрачной. Пели ж тогда:

Мундир английский,
Погон российский,
Табак японский,
Правитель омский.

Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.

и Крах и бегство омского правителя разделили и его
со оземные союзники.

а, Поскольку битых вояк Париж и Лондон встречали
ав в фанфар и шампанского, Жанен и Нокс затеяли
ксва ртнейшую перепалку — перепалку на лестнице, ста-
ны сь к собственной выгоде исправить историю. Жанен
винуил Нокса и Англию в недалёковидной ставке на
олчака. «Сибирь погибла... — писал он в декабрьской
ижке «Славянского мира» за 1924 год. — Какие
нн только попытки не предпринимали мы для того, чтобы
кар держаться, но все они рухнули. У англичан дейст-
Те тельно несчастливая рука: это сказалось на Колча-
жа, которого они поставили у власти... Нокс вышел из
екс бья: «В Сибири, по-видимому, все оказались виновны
ан последовавшем разгроме, все, кроме самого генерала
ми Жанена». В ответе — мартовский номер журнала «Сла-
е вянское обозрение» за 1925 год — Нокс отводил глав-
св ое обвинение Жанена. «Прежде всего укажем на то, —
лв писал он, — что переворот, который поставил Колчака
Ол власти еще до приезда генерала Жанена в Сибирь,
Нс был совершен Сибирским правительством без ведома
со всякого содействия Великобритании».

ип Прочтя эти строки, экспансивный француз отве-
ве тил новым демаршем: «Позволю себе сказать генера-
ля у Ноксу, что у него, наверное, очень короткая память,
если он не помнит, что он был замешан в интриги,
которые закончились переворотом Колчака... По-види-
мому, английский генерал не помнит больше смотра,
который состоялся 10 ноября 1918 года в Екатеринбург-
е, смотра, на котором дефилировал батальон англий-
ского миддльсекского полка, который служил адми-
ор балу Колчаку с самого Владивостока в качестве прето-
ри анской стражи».

Зная об этой перепалке, Анненков утверждал в су-
де о примате английского вклада в интервенцию, иро-
нически отзывался о Ноксе, Жанене, Грэвсе, корил
Колчака за посрамление русского престижа, пытаясь
создать впечатление, будто сам он, Анненков, последо-
вательный и яростный русофил, вовсе не принимал по-
мощи интервентов.

Председательствующий (Анненкову): Хотелось бы
услышать, подсудимый, какое именно оружие вам по-
ставляли довольствующие органы? И каких по преиму-
ществу марок?



Анненков: Национальная марка производства преимуществу русская Русская трехлинейка, пример...

Председательствующий: Русская полевая пушка

Анненков: Так точно
Председательствующий: И французская мортира
Единицы, говорите? Ну, что бы вы сказали о других частях?

Анненков: Вооружение сплошь чужое. Десятирядная английская винтовка, винтовка японская, пу-

леметы Виккерса, Кольта, Сантетьена, Льюиса...

Председательствующий: А башмаки, френчи?

Анненков: Вещевое довольствие из Англии. И лишь в малой толике японское. Френчи английские, конечно. Происхождение поставок этого рода, как известно, увлечено омской шансонеткой...

Председательствующий: Мундир английский? Судя по тому, что вы хотели бы услышать и о вещах более банальных — в каком языке говорила, например, караульная команда охранявшая дом Колчака?

Анненков: На английском. Впрочем, так же, как и его разведка. Его и — за ним. Нокс успевал повсюду.

Председательствующий: Вы были знакомы с Ноксом?

Анненков: Нет. Я был лишь осведомлен о Ноксе. И однажды...

Председательствующий: И однажды?

Анненков: Это был обмен словами чисто светского этикета, короткий, как отдание чести...

Председательствующий: Вам приходилось принимать у себя представителей Антанты?

Анненков: Хм... Нет, пожалуй... Я не мог терпеть их и потому не подпускал близко к отряду.

Член военной коллегии Миничев со своего места показывает Анненкову превосходно выполненный сепией групповой снимок офицеров «в регалиях и при шпаге».

на
за
ка
ци
щ
уч
ди
гр
у
д
н
и
го
л
уз.

— Взгляните, под-
димый... Вот этот
атый, вот, вот в
нтре. Не кажется ли
м, что это француз?

— Не вижу что-то.

— Попробуйте тог-
разглядеть в своих
ках. Нате! Гляньте
опутно и на изнанку,
м ваша подпись и не
чень лестный отзыв
о этой компании.

Анненков хмурит-

д.

— Да, да, это фран-
цузская кепка. Фран-
уз.

— Уполномочен-
ный Жанена, не так
и? А имя? Имя его?

— Дюше, Дюкю, что-то в этом роде.

— Где вас снимали?

— Здесь, в Семипалатинске. Неподалеку отсюда, от
этого здания...

Генерал Дюкю от генерала Жанена — это дотошная
многодневная инспекция. Не мишура парадов, тор-
жеств, патетических речей и взаимного прекрасноду-
шия, а работа. Гость из Омска выстукивал и выслуши-
вал военный организм, штабы и подразделения 2-го
степного отдельного стрелкового корпуса, в состав ко-
торого, по тогдашней схеме подчинения, входила ан-
ненковская кавалерия. Позже схема подчинения вста-
ла с ног на голову. Поубавясь в численности от по-
терь, а главным образом от перехода солдат на сторону
красных, 2-й степной превратился в слабый, если не
сказать удручающе обременительный, придаток аннен-
ковского отряда. Но и тогда «французская кепка»,
правда уже на другой голове, навевалась к лейб-
атаманцам, гусарам и кирасирам, чтобы выстукивать,
выслушивать, диктовать.

Британского резидента Нокса, как говорил на суде
Анненков, белое офицерство, торгаши, промышленни-
ки, отцы города принимали в Новониколаевске на-



много пышнее и хлебосольнее, чем самого Колчака. Свидетельствуя это унижение, Анненков был скорбнейшим и презрителем. Но вот рисуя картину собственного приема им генерала Дюреля, инспектировавшего Черкасскую осаду в Семиречье в тот момент, когда сомнительной была сама возможность возвращения Дюреля в царство Колчака — к Омску подходили критические моменты, — Анненков был уже попросту растерян. Приходилось признаваться в вещах, куда более унижительных для русского престижа, чем новониколаевский прием Нокса.

И потому, когда Матогонов, бывший его солдат, говорил в суде о шинелях японского сукна, о нерусских портянках и чужедальних сапогах, что носили анненковцы, подсудимый, полуобернувшись на голос, принимал изготовку, чем-то напоминавшую позу боксера, задавая вопросы прокурорского, наступательного характера, искал реванша за одиночество и позор перед всеми, за проигрыш всем, за необходимость говорить то, о чем так не хотелось говорить.

Коренной семиреченец, военком кавполка Красноармии Василий Довбня писал следователю:

«При позорном своем бегстве в Китай Анненков оставил за собой широкий и длинный кровавый след. На протяжении более двухсот верст от села Глинского по берегам озер Ала-Куля и Джаланаш-Куля вплоть до Джунгарских ворот (последний перевал на пути в Китай) дорога была усеяна трупами. Жуткая картина!..»

Около озера Джаланаш-Куль летают тысячи громадных грифов, прилетевших из соседней пустыни Гоби захватывать кровавый пир «восстановителя мира и порядка» — атамана Анненкова...»

Так он уходил из России. Пришел по трупам, уходил по трупам.

Он катил на итальянских колесах — на «Фиате» людей секли французские пулеметы, люди лежали, одетые в чужое: в японский молескин, в грубые солдатские рубахи, пошитые американками, орудия, что лошади тащили в гору, чтобы тут же скатиться в Китай, — английские, кривые пашки ездовых — канадские и турецкие, палатки на снежном перевале — в торговых клеймах Франции...

Чья это армия?

Русская?

Да полноте!

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ...

Болдыреву отряд Анненкова рисовался когортой главных и мужественных, чутко повинующихся воле тамана. По мнению Гинса, это были братья по духу. Зольница.

Что же сказал на этот счет процесс в Семипалаинске?

...В девятнадцатом году по весне ледовый покров Иртыша провис и покололся как-то враз при первом хорошем пригреве, и тогда на песочек из темной осевшей воды вынесло двух утопленников. Лежали они в обнимку, как преданные братья. Один — на спине, доровенный лейб-атаманец в черной папахе, туго увязанной в башлык с позументами, усатый, носатый, при пашке и кольте в деревянной кобуре, другой — на боку, длиннорукий мальчишка-красноармеец, босой, голова острижена наголо.

И людям пришло на память — в полуверсте от песочка зимой анненковцы топили в Иртыше пленных красногвардейцев. Мальчишка-смертник, завидев в дыму меж кострами черную воду в проруби, мгновенно обхватил зазевавшегося атаманца и рухнул с ним в ледовую могилу.

Выслушав доклад начальника конного разезда, что обнаружил на Иртыше мертвые тела, Анненков раздраженно фыркнул, переспросил:

— Хоронить с воинскими почестями? Кого ж это? — Он глядел мимо начальника разезда, остро, с недоброй издевкой. — Геройскую партию в этой игре сделал красногвардеец, но это же враг... Атаманца?



Вареного петуха? Столкните его обратно в воду, он еще не доплыл до своего креста!..

Анненков, этот жестокий, ревнивый и зоркий царек, мало с кем деливший власть по управлению своей богатой деспотией, все чаще и чаще убеждался том, что настоящего мужества в его гонимой страхе орде не было и в помине.

Оно было на стороне красных.

...Аллюр три креста, и конники, качнув пиками над земляным валом, вламываются в деревню. Сто верстная линия обороны лепсинских крестьян пробита с марша, и казак в черкеске уже рубит над крышей дома древко красного флага. Но флаг не падает, падает казак¹².

Озадаченность — вот чувство, которое охватывает в первые минуты лавину анненковцев. Что это? Откуда? Осажденные сами делают порох, сами делают пушки, у них древние берданы, а не винтовки, почти нет скорострельного оружия, и вдруг — стена. Стена смерти. Чувство озадаченности сменяется паникой. Участники набега бросают на ходу кольты и сантеты, ящики с патронами, раненых и в ту же брешь на том же аллюре уходят в степь. Сбитая пулей папаша атамана поднята красными на пике и в назидание врагу укреплена в лопухах и крапиве рядом с огороженным пугалом.

Проиграв бой за Андреевку, Анненков наутро распорядился доставить к нему пленного, сбившего с него пулей папаху. Спросил: кто, откуда — и, поманив через окно шедшего мимо трубача, приказал:

— Отведешь за конюшню и зарубишь.

Лег рядом с красным и анненковский корнет Русанов, имевший неосторожность сочинить и прочесть товарищам насмешливое четверостишие о проигранной в бою атаманской папаше. Но внутреннего голоса заглушить не удалось.

В последнем слове Анненков говорил:

— Несмотря на то, что элементы победы были в наших руках, что у нас была армия более сильная, с более опытным командным составом, мы лучше снабжались, нас поддерживали союзники — морально, материально, живой силой, — и все-таки мы были разбиты Красной Армией, испытывавшей недостаток в командном составе, недостаточно сформированной, раздетой

и, казалось, менее боеспособной. Нас разбили, как я понимаю сейчас, потому, что у них была вера в то, за что они боролись. В нашей армии этой веры не было...

Так говорил подсудимый Анненков.

Атаман Анненков думал иначе.

Проигрыш набега он объяснял чисто военными просчетами и проникновением в его отряд «красных гусар» — голубых либо черных по цвету башлыков и мундиров, красных по убеждениям, по цели в жизни.

Осадив лепсинцев в их главной цитадели, сохранившей себя в книге истории под именем Черкасской обороны, он писал в то время своему другу:

«Я хочу сосредоточить хороший кулак и ударить так, чтобы не было осечки». И тут же: «Кстати скажу, оружия мы получили достаточно, так что я сформировал 2-й киргизский полк и имею оружия еще в запасе. Патронов полковник Никитин привез один миллион, Семенов выслал пятьсот тысяч снарядов».

Между тем осажденные считали патроны штуками и стреляли только тогда, когда нельзя было не стрелять. Но, и не стреляя, торжествовали победу: флаг цвета крови на древке с отметинами казачьей шашки стоял гордо на гордой высоте и был виден по ту и по другую сторону земляного вала.

Флаг звал к себе.

Вот что было в одном из приказов Анненкова:

«В ночь на 29 мая гусары 2-го эскадрона полка черных гусар Петр Порозов, Иван Парубец, Надточий и Никитин из села Майского перебежали на сторону большевиков. По данным, добытым дознанием, произведенным по этому делу, видно, что крестьянин села Майского Лепсинского уезда Иван Шiba, 27 лет, настроенный враждебно к существующему правительственному и государственному строю России, подговорил гусар к побегу и способствовал этому побегу. Кроме того, это же лицо, то есть Иван Шiba, позволяло себе в присутствии партизан и частных лиц произносить дерзкие, неодобрительные и клеветнические отзывы о правительстве, его действиях и распоряжениях».

А в другом приказе:

«Из предъявленного мне дознания, произведенного начальником милиции Степановского района, видно, что лепсинский мещанин Файзрахман Елеусинов, проживая на урочище Бугой, что в пятнадцати верстах от селения Степановского... поддерживал связь с большевиками, два раза возил какие-то пакеты к большевикам, три раза принимал у себя ночью большевиков. Лепсинский мещанин Зулкарнай Елеусинов привозил Файзрахману Елеусинову два пакета неизвестного содержания для передачи большевикам».

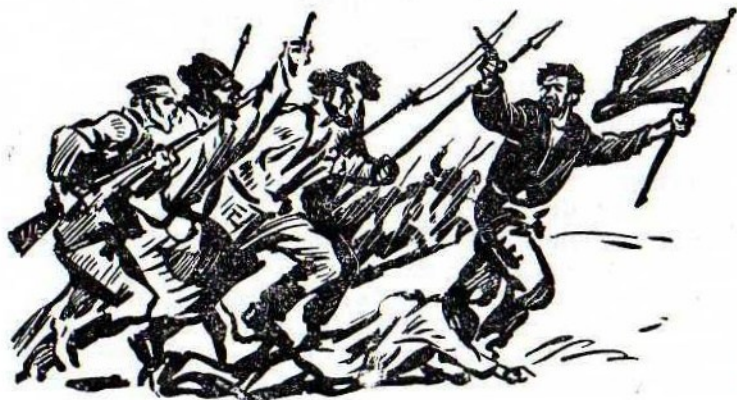
На призывный красный флаг шли русские, казахи, киргизы... Упреждая грозу возмездия, Анненков предпринимает длиннейший тур судебных и внесудебных расправ над крестьянами и рабочими, сочувствовавшими большевикам, над большевиками и пленными и повстанческих отрядов. Почти ежедневно (в июле двенадцатого года—2, 3, 4, 5, 8, 12, 13-го и т. д.) объявляет он в приказах «во всеобщее сведение» приговоры военно-полевых судов с одинаковой во всех случаях постановляющей частью: «По лишении всех прав состояния подвергнуть (такого-то) смертной казни через расстреляние».

Посыльные штабов на бричках с ведрами клейстера объезжают округу Семи рек, расклеивают повсюду тысячи устрашающих приказов, а люди бегут, черные гусары, поселяне и станичники становятся красными.

Волна террора не выносит на своем гребне никакой надежды для атамана. Напротив.

В конце 1919 года восстает против белых входившая в его отряд бригада генерала Ярушина, а в предвесье следующего, 1920 года сторону красных принимает второе лицо той же «феерической переключки», правая рука Анненкова, его помощник и заместитель полковник Асанов. Весть об этом настигла Анненкова в юрте хлебосольного бая, где он спал, оторвавшись на своих итальянских колесах от армии, шедшей за ним в направлении границы.

Анненков верил и не верил: в приказе Асанова № 1, доставленном ему «верным человеком», стояло:



«Атаман Анненков бежал за границу. Полную власть в отделе принимаю на себя. Всем полкам оставаться на местах и ждать моих распоряжений.

Довольно проливать братскую кровь ради славы!
Полковник Асанов».

Позже Анненков недоумевал в «Колчаковщине»: Сибирский казак, антибольшевик до мозга костей, друживший с атаманом еще в мирное время, бывший с ним в одной сотне. И вдруг такой приказ. Что это? Он?».

За сорок лет на мой стол ложилось немало судебных дел, но если из всей бесконечной череды уголовных сюжетов выбрать самые впечатляющие по крайней жестокости и бесчеловечности, они вряд ли ужаснут больше, чем одно это дело. И вряд ли в каком-либо другом деле найдется такая яркая позитивная сторона, такие мужественные, самоотверженные характеры борцов за Советы.



Из великого множества примеров, частью уже приведенных выше, сошлюсь лишь на один в точной формуле, какую он получил в обвинительном заключении.

«Член партии, уполномоченный политотдела тов. Тузов прашивался самим Анненковым, причем на требование Анненкова сказать, что Советская власть идет по неправильному пути, обещая при этом тов. Тузову даровать жизнь, тов. Тузов в ответ на это требование плюнул Анненкову в глаза и сказал: «Лжецы, паразит!». Тов. Тузов был немедленно казнен».

Говорят, в тот вечер телохранители не нашли своего владыку. Осторожный и мнительный, он имел, как и обыкновенно, две квартиры, две юрты, две палатки. В этот раз его не было ни в одной. И только наутро его заметили в конюшне, у своего любимого скакуна Мара. Он сидел на тюке прессованного сена и надсадно курил, что позволял себе крайне редко.

КАРАГАЧ. ЧТО ЭТО?

Молоденький офицер из полка «черных гусар», недавно сильно мобилизованный Анненковым, недавний гимназист, тайно оставил эшелон, готовый к отправке «в операцию». В будке стрелочника он расшнуровал круги и, связав два шнурка в один, повесился на печной трубе. Из закованного кулака с трудом вынули круглую предсмертную записку:

Все в мире неверно, лишь смерть одна
Всегда неизменно верна.
Все сгинет, исчезнет, пройдет, пропадет,
Она не забудет, придет.

Припомнив этот случай, я спросил адвоката Цвечкова, чем же, какой веревкой прикручивал Анненков к своей телеге насильно мобилизованных.

— Тем, что побудило гусара расшнуровать круги, — ответил он. — Страхом. Если хотите, я мог бы... Он покосился на мой карандаш и попросил: — Только не записывайте, пожалуйста... Вы хотите, чтобы я говорил о чувствах. Понимаете? Чувства и — карандаш диктовка... Вы не хуже меня знаете, что на всяком суде бывают картины, события, которые не оставляют следа на бумаге, — в протокол попадают только слова

Слова тех, кто видел или слышал, слова тех, кто делал, творил зло. Между тем пауза перед ответом, интонация, ухмылка из-под усов, нечленораздельный звук, смешок, мольба или холодное бешенство в чьих-то глазах порой говорят нашим чувствам куда больше, чем трескучие объяснения и свидетельства...

На суде, о котором мы говорим, было немало потрясающих сцен, лишь отчасти угодивших на лист протокола. Одну вот такую сцену и я позволю себе воспроизвести, отвечая на ваш вопрос о страхе.

Вообразите немудрящего сухонького мужичонку, конельзя издерганного, пугливого, — нелепый цветастый жилет с чужого плеча, необычный для сибирских шпирот соломенный бриль в опущенной руке, развинченная походка, и не поймешь, для какой цели свежечочиненный плотницкий карандаш за ухом...

Председательствующий спрашивает: «Что делали вы Анненкова? — «Служил». — «Ну, а точнее». — «Служил в каптерке». — «Что-нибудь слышали о расстреле своими своих по приказу Анненкова?» — «Не понимаю вопроса...»

Он, конечно, все понимает, этот чужой жилет, походная каптерка которого чутко отзывалась на малейшую убыль в отряде. Председатель суда видит это и так неумолимо и плотно припирает каптерщика, что тот, наконец, сдается: «Было. Ставили казаки казачков к стенке».

«Что скажет на это подсудимый Анненков?»

Анненков поднимается, нервно покусывая ус: «Так это ж слизняк, — говорит он, — пустышка! Да, да, я сознаю, я не вправе аттестовать свидетеля, но поймите... В отряде он был соглядатаем, тайно осведомлял контрразведку о красных настроениях. Мы не трогали инакомыслящих, двери казарм и эшелонов были открыты для их ухода, но... И еще одна подробность — после меня атаманами для свидетеля стали братья Меркуловы¹³. Каптенармусу не хватило войны. Он еще около года дрался с Советами на Дальнем Востоке. Жилетка на нем красная, а вот какого цвета его убеждения?.. Я не могу доверять его показаниям...»

Анненков превзошел самого себя. Чтобы бросить зловещую тень на каптенармуса, он заговорил на весьма рискованную для себя тему о красных настроениях, признавая, что они случались в отряде.

Не помню точно, в тот же день или на следующее утро, свидетель заявил председателю: «Я знаю Анненкове больше, чем сказал, допросите еще раз».

И вот перед судьями снова тот же замаянный человек с плоским плотницким карандашом за ухом. Все ждут чрезвычайных сообщений. Пересказав свои первые свидетельства, каптенармус добывает из кармана записную книжку. И тотчас же в зале рождается вполне отчетливый, хотя и негромкий, посторонний звук. Откуда это? Свидетель ежится, переводит глаза на скамью подсудимых...

Я делаю то же самое и вижу перед собой очень бледное лицо Анненкова, его характерную ухмылку молчаливого бешенства из-под крашенных усов, и в наступившей тишине слышу, как он повторяет одно, мне знакомое мне, нерусское, быть может просто жаргонное слово. Свидетель воспринимает это слово, как удахлыста. Кажется, он стал еще меньше и на требование председателя продолжать рассказ с решимостью отчаяния крутит шейю: «Ничего больше не знаю. Не знаю, не знаю...»

Слово, нагнавшее на свидетеля столько паники, протокол, я думаю, не попало. Не буду скрывать, мне очень хотелось доискаться до его смысла. И вот после приговора в скверике у театра — суд шел в театре имени Луначарского — я вел со свидетелем тихую доверительную беседу. Но стоило мне придать моему любопытству форму прямого вопроса, как во мгновение переменялось. Свидетель поднялся, глядя на меня затравленно и жестко: «Зачем вам это слово? Лицо его выражало ожидание и страх: «Не ваше это дело, не ваше, не ваше...» Он плакал, отворачивался, прятал свои слезы. Это была истерика. Он и теперь боится Анненкова...

Что же это за слово? Чем оно страшило тех, кто разделял когда-то пути атамана? Прямого ответа на этот вопрос бумаги, естественно, не сохранили. Но вот одна догадка кажется достойной внимания.

Анненковскую контрреволюцию суд изучал, исследовал поэтапно, условно расчленив ее во времени и пространстве на восемь самостоятельных кусков. Один из эпизодов я бы назвал изгнанием. Здесь виделось каменное окно Джунгара, последние версты, после

ние пограничные пикеты. Граница делит армию надвое: одни идут с Анненковым на чужбину, другие поворачивают обратно к родным старым гнездам. Прощание с Россией.

«Все уничтожено, — писал Анненков в «Колчаковщине». — Один за одним в полном порядке с песнями, с музыкой уходят полки из деревни... Первыми и последними... идут самые надежные. В середине — артиллерия и мобилизованные. Куда идут — никто не знает, даже начальник штаба. Продуктов на десять дней. Особенно трудно уходит Драгунскому полку, сформированному из этого же района, уже признавшего Советскую власть... Слышится приказ атамана: «Полкам оттянуться друг от друга на две версты!» Полки оттянуты, теперь они уже не видят друг друга.

Остановка.

К одному из средних полков подъезжает атаман, приказывает: спешиться, снять все оружие, отойти от оружия на 600 шагов. Все недоумевают, но исполняют приказ без промедления. Личный конвой атамана — между безоружным полком и оружием. Атаман медленно подъезжает к полку.

— Славные бойцы, — говорит он, — два с половиной года мы с вами дрались против большевиков... Теперь мы уходим... вот в эти неприступные горы и будем жить в них до тех пор, пока вновь не настанет время действовать... Слабым духом и здоровьем там не место. Кто хочет остаться у большевиков, оставайтесь. Не бойтесь. Будете ждать нашего прихода. От нас же, кто пойдет с нами, возврата не будет. Думайте и решайте теперь же!

Грустные стоят люди: оставлять атамана стыдно, бросать родину страшно.

Разбились по кучкам. Советуются.

Постепенно образовались две группы.

Меньшая говорит:

— Мы от тебя, атаман, никуда не уйдем!

Другая, большая, говорит:

— Не суди нас, атаман, мы уйдем от тебя... Но мы клянемся тебе, что не встанем в ряды врагов твоих.

Плачут. Целуют стремя атамана.

Оружие уходящих положено на брички. Последний привет, и полк двумя толпами уходит в противоположные стороны, на восток и на запад».



Судьбу обезоруженных Анненков не прослеживаем. Это делает другое лицо: Д. Матрон, следовательно по особым важным делам.

«Изъявившие желание вернуться в Советскую Россию, — стояло в обвинительном заключении, — были раздеты, потом одеты в лохмотья и в момент, когда проходили ущелья, пущены под пулеметный огонь Оренбургского полка».

Потрясающее вероломство! Палач поднимается еще на одну ступень. Кто же они, эти его жертвы? Казацкая добровольщина? Нет и нет. Крестьяне, пахари, забритые «во казаки» из-под палки.

В суде тезис Матрона о расстреле Анненковым своих вчерашних сподвижников исследовался с большой глубиной и всесторонностью. Но в числе других обвинений стояла еще одна «массовая экзекуция» с участием того же Оренбургского полка — расстрел поднявшей восстание ярушинской бригады, — многое было подобным, и потому постепенно сложилось впечатление, будто это не две, а одна расправа, расправа над ярушинцами.

Прокурор в своей речи не смог назвать — это было попросту невозможным — хотя бы приблизительное число жертв для первого и второго событий, что позволило адвокату Борецкому сделать следующее заявление:

— Вчера обвинение проявило в отношении цифры расстрелянных удивительную корректность. Обвинитель мог бы полезно воспользоваться ею, но он, так сказать, с величайшей ласковостью погладил эту цифру, не фиксируя на ней внимание суда, как будто желая этим сказать: «Не трогайте эту тысячу людей, погибших от руки Анненкова. Пусть они лежат присыпанные песками Ала-Куля».

При всей своей нарочитой кокетливости заявление адвоката в общем-то было справедливым, и прокурор в реплике не настаивал на двух «экзекуциях». Осудили Анненкова за одну — за расстрел ярушинской бригады, — следствие же дела по второму пункту, по видимому, представилось нецелесообразным.

Между тем это «доследование» уже шло полным ходом.

4 августа 1927 года, утром, шоколадный газик с неестественно высоко поднятым ветровым стеклом перебежал из Китая в СССР и, огибая каменную тер-

расу, стал углубляться в Семиречье. Днем позже человек в макинтоше, шофер, плечистый пограничник в хрустящих ремнях и их спутница сгрудились у крыла автомашины, чтобы занести в толстую кожаную книгу акт следующего содержания:

«1927 г., августа, 5 дня. Мы, нижеподписавшиеся: консул СССР в Чугучаке Гавро, начальник погранзаставы Джербулак Зайцев, секретарь ячейки Фурманова, шофер Пономарев, составили настоящий акт в нижеследующем: сего числа мы прибыли на автомобиле в район озера Ала-Куль и, не доезжая до самого озера трех, приблизительно, верст, в местности Ак-Тума нашли пять могил, четыре из которых с надмогильными холмами, а одна из могил открыта и наполнена человеческими костями и черепами... В местности Ак-Тума была приготовлена особая часть из Алаш-орды, которая и изрубила расформировываемых (Анненковым.— В. Ш.) числом около 3800 человек».

В знойном Семипалатинске левый столик судебной полемики оспаривал тезу правого о том, что Анненков истребил тысячи своих солдат, а в западнокитайском Чугучаке тем временем «Ундервуд» под синюю копирку торопливо отстукивал на рисовой бумаге письмо советского консула в Москву:

«Анненкова пугал призрак восстания в своих частях... Разбитый по всем направлениям, потерявший всякую надежду на свои части, не в состоянии видеть лиц солдат... Так как на всех этих лицах написана одна мысль, как можно скорей вернуться к мирной жизни... он в марте месяце (1920 года.— В. Ш.) направляется к западной границе Китая и приступает к осуществлению давно задуманного плана, чтобы истребить на 75—80% свои части, дабы предупредить восстание... Для этой цели Анненков издал вероломный приказ, в котором, как истый предатель и провокатор по отношению к своим же солдатам, объявил, что все солдаты, желающие вернуться на родину, могут вернуться, дабы не нести тяжести неизвестного пути. Приказ был написан в торжественном стиле, языком манифеста...

За два месяца были приготовлены могилы. Крупные баи и другие прислужники Анненкова объявили населению, что могилы предназначены для хранения оружия. Специальные люди под видом проводников провожали анненковских солдат к могилам, где их уже ожидали...»

В том же письме говорилось: всех, кто шел на родину, посылали в город Карагач, хотя такого города не было. Мнимые проводники объясняли обреченным, что в городе Карагаче их ждут подводы, пища, им там укажут дорогу.

Карагач. Город, которого не было. Уж не это ли слово и сказал в суде Анненков каптенармусу? — Это.

ЦАРЕК

Остается рассмотреть два вопроса.

1. Под Омском в Захламино у Анненкова было 24 сабли, на переходе в Исилькуль — 5, перед границей с Китаем — около 29 тысяч. Что позволило ему сколотить столь крупное соединение, державшее в трепете обширную округу Семи рек?

2. Какую судьбу, какую долю готовил он Семи рекою?

23 января 1920 года Анненков подписал приказ № 23 с концовкой следующего содержания:

«Начальника Семиреченского края походного атамана всех казачьих войск генерал-лейтенанта Дутова зачислить в списки лейб-атаманского моего имени полка»¹⁴.

Дутов надел черкеску лейб-атаманца, красный башлык, принятую в этом полку старомодную пашку. Приказ № 23 стал символом единения двух белых армий — дутовской и анненковской.

Шеститомник судебного дела утверждает, что на вся гонимая красными орава дутовцев влилась в армию Анненкова — что

то прямоком проскочило в Китай. Но факт остается фактом: Анненков пополнялся за счет битых. Приращения подобного рода были чисто механическими. Через границу анненковцы хлынули тремя потоками, из которых два (левый — генерала Бакича и правый — генерала Щербакова) были также готовыми пристяжками.

О людях Анненкова, как помнит читатель, Болдырев говорил: были сыты, хорошо одеты и не ску-





чали. Не слишком опасная, по преимуществу полицейская, сытая и нескучная служба у Анненкова могла привлекать к нему и действительно привлекала людей, лишенных настоящей опоры в жизни, искателей легкой добычи, дезертиров, уголовников.

Свидетеля из анненковцев спросили в суде:

— Не помните ли, чем вас полковой артельщик жаловал на завтрак?

— Борщ со свининой, кулебяка, гречневая каша...

— На обед?

— Обрато борщ. Иногда выпекали шаньги, бублики.

— А горилка?

— Первач из-под полы, маньчжурский спирт, французское вино.

Отряд Анненкова пополнялся и за счет мобилизованных. Их-то по преимуществу и присыпали потом пески Ала-Куля, они-то и устраивали восстания, бредли, ища на горизонте желанный и ненаходимый Карагач.

Но главной жилой штабов пополнения была добровольщина. Что же, помимо сытных наваров и первача, влекло чубатых и стриженных в стан атамана, кого записывали в свои книги военные чиновники?

К Анненкову липла, главным образом, состоятельная часть Сибирского и Семиреченского казачьих

войск: кулацко-атаманская верхушка, а в определенной части и середняки, привлекаемые посулами навечно укрепить на Руси казачьи привилегии.

Крепко держалась атаманская верхушка за царский надел, за аграрные привилегии. И потому, когда Анненков, завладев казачьей реликвией — знаменем Ермака, принялся распускать слухи, что он вернет казакам казачье, кулаки, званое кулачество да и вообще дюжие хозяева из казаков потянулись в его стан. Выиграл Анненков две-три стычки на Верхне-Уральском фронте, побил безоружных мужиков в Черном Доле, осадил лепсинцев, кстати, не казаков, а новоселов, — вот и оброс оравой. А когда одержал победу в собственном лагере, над своим конкурентом генералом Ионовым, тогда уже все четыре туза попали ему в руки.

Традиционное истолкование Анненкова — каратель, зверь.

Это верно, конечно, но не полно. Каратель был еще и политиканом. Мелким, мелкотравчатым, и все-таки политиканом. Он делал попытки воссоздавать, восстанавливать прошлое и, следовательно, был здесь тем же, чем был и везде — разрушителем. Невозможно восстановить прошлое, не разрушив настоящего.

Эта обманчиво позитивная деятельность — проведение крестьянских съездов, чисто платонические занятия денежным хозяйством, устройство новых управлений и постовых служб милиции и пр. и пр. — имела своей изнанкой заботу о дюжем казаке-хозяинчике. Анненков хотел возврата замшелого средневековья в хозяйстве и быте казачества, в котором, по выражению Владимира Ильича, «можно усмотреть социально-экономическую основу для русской Вандеи»¹⁵.

Три привилегии сибирского казачества: земельный надел от царского каравая размером в 52 десятины на хозяина с запасом до 10 десятин, территориальная обособленность и, наконец, войсковой круг, войсковой атаман, или, иначе, особое управление, чаще других казачьих прав становились предметом разговора в судебном заседании.

Округой Семи рек правили одно время два царька — самозванный атаман Анненков с его мнимой партизанской дивизией и «законный» атаман Ионов, «помазаный» на атаманское место решением казачьего круга Семиречья. У Иопова было куда меньше головоре-

зов, чем у Анненкова, но он был «единодержцем» булавы, символа власти над казаками, и с этим нельзя было не считаться. В суде Анненкова спрашивали:

— Значит, вы и генерал Ионов собирали крестьянские съезды?

— Да.

— С каким главным вопросом?

— Сплошное оказачивание района Семи рек.

— Чья это идея?

— ИONOва.

— Цели?

— Устранение борьбы и раздоров. Крестьяне-поселенцы переписываются в казачье сословие, и тем самым кладется конец вражде между ними.

— Вы разделяли этот проект?

Анненков усмехается: нет, конечно.

К месту съездов он по обыкновению прибывал с пунктуальностью главнокомандующего на холеном, гарцующем Мавре, в эффектном мундире лейб-атаманца или кирасира, всегда с оравой телохранителей, пестрых, как попугаи, и, устроившись на низком походном стульчике в стороне от президиума, молча курил сигару. Речей он не произносил — слушал. Речи, плавные, как архиерейские проповеди, полные патетики и старых слов, были сладкой ношей другого устроителя съездов — ИONOва. Внешне они казались друзьями. Но это были два паука в банке, всецело поглощенные одной задачей: сожрать друг друга.

Сущность политики тотального оказачивания как нельзя лучше выражает и разъясняет сам Ионов приказом № 33/6 от 20 декабря 1918 года. Вот два извлечения из этого приказа:

«Семиреченское казачество призывает все крестьянское население старожильческих русских поселков области, ближайших к казачьим районам, и тех новоселов, кому противна коммуна, а дорога Россия, влиться в казачество со всеми землями».

«Казачество не может и не в силах призвать теперь в свою среду поголовно и без разбора всех крестьян-новоселов ввиду враждебного отношения к станицам и старожильческим поселкам их значительного большинства, которое добровольно шло в передовых рядах большевизма на разрушение и на попрание права и свободы русского народа».

Цель ясна: всех, кому не по душе Советы, собрать в единый кулак. «Во казаки» приглашаются лишь противники коммуны.

Справедливости ради следует заметить, что Ионову доставало на этот раз трезвости считаться с таким горьким и упрямым фактом, как невозможность изгнать всех новоселов с земель, смежных с казачьими.

Анненков думал по-другому. Забавляясь сигарой, он видел, конечно, что дебаты на крестьянских съездах отражают острейшую борьбу не только между новоселами и званым казачеством, но и внутри казачества между верхушкой и голытьбой, между пришедшими с фронта и тыловиками. Привыкший рубить, а не развязывать, он искал способа освободиться от опеки Иопова, похоронить его идею оказачивания и, скрутив новоселов, утвердить над Семью реками одну господствующую фигуру казака-хозяинчика.

И вот как-то в степи лейб-атаманцы Анненкова перехватили по его тайному приказанию кавалькаду из трех всадников — Иопова, его ординарца и члена войсковой управы, — закрыли их под замок и напустили такого страха, что Ионов, схвативши перо, написал Анненкову унижайнейшую слезницу: дескать, обещаю тебе, боевой коллега, забросить «навечно» занятия политикой и «до кончины своей пребывать в домашнем кругу, разделяемом любящей женой и детками».

Анненков сделал вид, что генерал был схвачен в типчаках и сунут под замок без его ведома, выпустил узника, извинился и тут же издал приказ, расклеенный назавтра на всех столбах и заборах. В приказе, на всеобщую потеху, рассказывалось о похождениях «храброго генерала Иопова», приводилась выдержка из его письма. Ионов смотался в Омск и не вернулся.

Расчищая дорогу к «единодержавию», Анненков наводил мосты и к Алаш-орде, контрреволюционной буржуазно-националистической байской организации. Он сформировал два алашских полка, потом еще один, именуемый конно-киргизским, а для управления «мыслью и духом» личного состава этих соединений — аппарат мулл, явно алашордынской ориентации. Сначала это было сделано для 5-й стрелковой дивизии, приданной ему приказом командира Степного корпуса:

«Для удовлетворения религиозно-правственных нужд джигитов киргизских полков разрешаю пригласить лиц мусульманского духовенства (мулл) с отпуском на содержание средств из казны по норме, установленной постановлением Совета министров от 1 июля с. г. за № 430 для священников войсковых частей».

Кандидаты в муллы проходили испытания, а назначались и перемещались только приказом атамана. Таким, примерно:

«Вьючно-верблюжьего военного батальона исправляющего должность муллы Бектимирова Дишислама перевожу на службу в 3-й конно-киргизский полк» (из приказа № 240 за 1919 год).

Общественный обвинитель Мустамбаев, казах по национальности, констатировал в своей речи, что Анненков, служивший до войны в Туркестане, хорошо знал жизнь, быт и язык коренного населения, но, так же, как и Колчак, презирал его, не обнаруживая намерения устраивать народности этого края.

— Казалось бы, он должен был задаться вопросом: ну, победим большевиков, а что дальше? — говорил обвинитель. — Этот вопрос не занимал его, да и не мог занимать. Молодчики его пороли казахов, таранчинцев, дунган и думали, что казахи, таранчинцы и дунгане только для этого и существуют. Пороли и — достаточно!

Мустамбаев отмечал, что Анненкова могли занимать лишь нарождающаяся национальная буржуазия Туркестана и Алаш-орда — опереточное правительство, игрушка в руках деятелей такого сорта, как генерал Дутов и он, Анненков.

С национальной — казахской и киргизской — буржуазией Анненков заигрывал. Чтобы подтвердить эту мысль, обвинитель сослался, в частности, на представление атаману, сделанное ему одним из подчиненных штабов:

«...Я уже докладывал, что в этом, Уль-Турфанском, районе должны находиться представители киргизских и каракиргизских родов. Во главе последних стоит один из рода Сарыбачишей. Его можно найти в Кашгаре или Аксу...

Привлечь его и других (к сотрудничеству с нами) можно следующими мерами:

- 1) выдавать определенное жалованье,
- 2) гарантировать переход в полное вечное владение земельного участка на урочище Ак-Пикет Пишпекского уезда,
- 3) гарантировать присоединение к Сарыбачишевской волости Пишпекского уезда соседних волостей,
- 4) пообещать... что, по крайней мере в первые годы, волостными управителями в Сарыбачишевской волости будут только лица, желательные для главарей этого рода».

Кем же был этот человек? Каким он рисовал себе будущее — для себя, для края Семи рек?

Анненков любил фотографироваться. И всюду — среди конвойцев-телохранителей, в компании французского генерала Дюкю, с приближенными и Денисовым под зловещим черным штандартом, на белоатласном кокетливом аргамаче и даже у гимнастического коня — это самодовольный царствующий сотник.

Жест, поза. Староказачий, любовно ухоженный чуб, вздымающий фуражку. В оппозиционных Анненкову белоэмигрантских газетах эту карамельную внешность называли «патретом».

Но вот совсем другое: на неуловимом для глаза очень низком сиденье — восточный владыка в цветастом халате, полы которого заброшены выше колен, в роскошной меховой шапке, калмыковская раскосинка утонула в сытой, блаженной улыбке. Это барин по духу.

Анненков знал слово «демократия» и даже пользовался им. Соглашался с идеей Учредительного собрания. И даже на суде. Вот так, к примеру:

— Очень поверхностно, на ходу я читал в свое время программы разных партий — кадетской, эсеровской... Принимал Учредительное собрание, приветствовал, думал, что оно изберет нового царя, не такого дряблого, как Николай. А новый царь будет опираться на земство.

Он пытался при случае касаться и других более тонких понятий, одинаково далекий и от этой тонкости, и от самих понятий.

В личном владении Анненкова состояла прекрасная конюшня скаковых лошадей, с нею он никогда не расставался, она перевалила Джунгар с охвостьем анненковцев, а в Китае стала конным заводом, который Анненков содержал на паях с губернатором Синьцзянской провинции. Команда егерей в кокетливых шапочках с павлиньими перьями, занятая уходом за скакунами — они делали это в Семипалатинске, Уч-Арале, Андреевском, — перешла на положение работников заводчика.

У него был личный повар, личный шрирмахер, почти ежедневно подрезавший либо подвивавший атаманский чуб, личный гардеробщик — Анненков каждый день красовался в новом мундире: сегодня он кирасир, завтра — лейб-атаманец, послезавтра — улан или гусар.

При атамане была обойма телохранителей, хор песенников, управляющий личным зверинцем (помимо лошадей, он таскал за собой волков, медведей, лис). Когда атаман, разбросив длинные крюковатые ноги, валялся после обеда на походной койке, его «собственный» духовой оркестр исполнял на удалении минорные вещицы. Имел он и своего шута, как царь Петр знаменитого Балакирева. Это был штаб-ротмистр, великий умелец строить потешные рожи и рассказывать анекдоты для избранных. Шут-ротмистр ночевал обычно в одной из квартир атамана.

Был у него и палач — это уже для других — пан Левандовский, с которым он обходился по обыкновению очень учтиво. По утрам, встречая его, приветствовал на польский манер двумя пальцами, спрашивал, что слышно о пани Левандовской, торговавшей в Омске спичками.

Коренным жителям Туркестана готовил Анненков ту же тюрьму народов, что и Колчак, а всей России — сильную личность, царя, помазанного (быть может) Учредительным собранием. Это, так сказать, в плане России.

Ну, а что он готовил земле, на которой жил? Семиречью?

29 июня 1919 года Анненков подписал приказ со словами:

«Объявляю телеграмму Чугучакского консула Долбежева от 26 июня с. г. № 304: «Наш консул в Кульдже Люба телеграфирует мне следующее: просьба передать министру иностранных дел, копию атаману Анненкову — слух отозвания Анненкова с Семиреченского фронта вызвал здесь большую тревогу, так как население привыкло связывать освобождение Семиречья с именем атамана. Люба. 558».

Приказ этот нацелен на ставку Колчака, принявшего решение срочно перебросить армию Анненкова на Екатеринбургский фронт, который на глазах разваливался и угасал под ударами Красной Армии. Анненков не хотел оставить «свои» Семь рек и потому обставлял это свое нехотение демаршами дипломатов, по мнению которых (вернее, по словам), освобождение Семиречья — успешный исход Черкасской осады — без Анненкова было невозможно.

Ну что ж, ход как ход. Однако в каких же видах он сделан?



На одной из страниц дела утверждается, что Анненков строил планы создания своего независимого «государства»: «Занять Верный, организовать новое казачье войско и стать диктатором, не подчиняясь никому». Гипотеза эта еще ждет своего исследователя. И когда он вплотную займется ею, ему не обойтись без шести томов этого дела.

Анненков не сказал, строил ли он для себя государство — латифундию у Тянь-Шаня. Сказали данные дела.

1. Анненков командирует в Китай своего эмиссара полковника Сидорова с письменным предписанием «приступить к организации (в Китае, разумеется.— В. Ш.) годных для моего отряда партизан» и с устным — потрясти русских промышленных и торговых тузов, перетащивших свои сокровища за границу. Людей Сидоров не добыл, а вот золота и... опия привез в преизбытке. Дателями на анненковскую «империю» стали: товарищества «Экспорт и импорт», «Тянь-Шань», фирмы Ибрагимова, Юничева и пр.



2. Пикеты Колчака на западных участках возможного сближения с Красной Армией усиливает своими людьми и вооружением.

3. Форсирует исход осады Черкасского, хотя для ухода в Китай эта победа попросту не нужна.

4. Производит зондаж Верного, тайно переправляет туда своих лазутчиков.

5. Личный состав ионовской милиции шерстит, чистит и в конечном счете зачисляет в штаты своих полков.

6. Перед тем, как окончательно скатиться в Китай, долгое время стоит в заснеженных ущельях перевала Сельке, ждет, оглядывается на Россию.

Да, наконец, и то, что уже сказано, — заигрывание с Алаш-ордой и расправа.

Анненков боялся, что вчерашние его солдаты будут его сегодняшними врагами. А так как почти все мобилизованные — семиреченцы, это — враги в собственном доме.

Вернуться в такой дом невозможно.

ТРИУМВИРАТ ОБВИНИТЕЛЕЙ

Человек, которого общество посылает в суд с широким обязывающим мандатом обвинять от его имени, призван выразить то, что общество видит в деле, чего хочет, чего ждет от суда. Видит, хочет и ждет. Он, этот общественный обвинитель, занимает место за одним столиком с прокурором — справа от судей и подобно прокурору черпает материал для своих выводов из бумаг следствия, из жизни, наблюдаемой и творимой в суде.

В деле Анненкова общественное обвинение черпало материал не только из этих двух источников. Обвинение начиналось задолго до суда, до правого столика.

Песками, полынной типчаковой степью скакал в июньскую сушь наездник в алом праздничном малахае. Он искал и находил людей, боровшихся в свое время с анненковщиной, страдавших от ее разгула, встречался с героями «Черкасской обороны», с партизанами славного соединения «Горных орлов Тарбагатай». В аулах, в рабочих поселках, станицах, на пастбищах у костра он добывал из притороченной к седлу кожаной сумки толстенную памятную тетрадь, чтобы занести в нее факт, имя, случай, географическое название. В стальном сейфе Военной коллегии хранились к той поре четыре тома анненковского дела, а здесь, на берегах Семи рек, на бумагу ложились новые подробности той же трагедии.

25 июля 1927 года в день и час, когда Мелнгалв, председательствующий в процессе, открыл первое судебное заседание, алый малахай и сумка с тетрадью уже лежали на правом — прокурорском столике. Наездник занял место общественного обвинителя.

Ноша общественного обвинения была поделена между тремя представителями четырех губерний — Алтайской, Новосибирской, Джетысуйской (Семиреченской), Семипалатинской, и каждый представитель прибыл со своей кожаной сумкой.

Триумвират обвинителей — Мустамбаев, Паскевич, Ярков — превосходно знал, что именно видело общество в деле Анненкова, чего оно хотело, чего ждало от суда. Каждый из троих не только побывал там, где знали правду об анненковской деспотии, но и запасся богатейшим багажом сведений социальных, политиче-

ских, чисто военных о белогвардейской контрреволюции, колчаковщине, интервенции, атаманах, о начале и конце анненковщины. Обвинители от общества хорошо знали мемуарную литературу — записки и дневники В. Болдырева, Г. Гинса, А. Будберга, К. Сахарова, М. Жанена, пикировку М. Жанена с А. Ноксом, новейшие труды советских исследователей, читали периодику русской белой эмиграции.

Мустамбаев сетовал в речи на собственную беспомощность в вопросах права, но вот он формулирует юридические основания ответственности Анненкова, и — какая удивительная свобода мышления, какие знания!

— Мы судим Анненкова не за убеждения, — заключает он в этой части своей речи. — У нас есть еще, к сожалению, немало старичков, которые никак не могут расстаться со своими сладкими мечтами о восстановлении монархии. То великий князь Николай Николаевич, то Кирилл, то еще какая-то третья ублюдочная фигура видится им на опустевшем российском престоле. Этих мечтателей судит сама жизнь, и она переубедит их, переупрямит. Повторяю, мы судим Анненкова не за монархизм в мыслях, платонический, мечтательный. Мы судим его за монархизм, конкретно проявленный в действиях, за действия по восстановлению палочного режима.

Прокурору не надо было учить своих коллег азам истории, политики, права и даже искусству, тактике и такту следственного допроса — многое они знали сами и многому учились по собственному почину. Не к ним, а от них шла помощь.

На судейском столе — четыре тяжких тома, эпопея, вышедшая из-под пера следователя по особо важным делам. Мустамбаев, Паскевич и Ярков предложили новый, более щедрый сведениями, изустный вариант этой эпопеи, выявив и назвав прокурору, а через него и составу Коллегии более ста новых свидетелей, частью уже прибывших в Семипалатинск. Коллегия постановила допросить сверх досудебного списка еще 99 человек, и эта нетронутая целина исследования стала главным мотивом, злобой процесса.

Представители общественного обвинения были чрезвычайно деятельны и в допросах. В одном из четырех интервью с адвокатом Цветковым я спросил:

— Скажите откровенно, что было самым впечатляющим на процессе?

— Общественное обвинение. И еще, пожалуй,— председательствующий.

— То есть?

— Он с удивительным тактом управлял разбором дела. Даже в мелочах, я это подчеркиваю.

— Не назовете примера?

— Мой коллега Борецкий с настойчивостью, достойной лучшего применения, требует от свидетеля сказать, сколько именно верст от такого-то населенного пункта до такого-то. Кстати, замечу, что знать это расстояние было далеко не безразлично. Председательствующий извлекает из планшета какую-то рогатую штучку, ставит ее на железную ногу — на что именно, я не вижу, и, улыбнувшись, прерывает Борецкого: «Позвольте мне помочь свидетелю. До пункта... → он называет его, — сорок пять километров. По карте».

— Чья же речь вам особенно понравилась?

— Паскевича. Конечно, таких сильных сторон оратора, как магнетический голос, превосходная дикция, настоящий бойцовский темперамент, протокол не свидетельствует, но... Словом, прочтите ее при случае.

Я прочел эту речь и перенес в записную книжку:

«В наших сердцах мы не находим ни оправдания, ни снисхождения. В общественном смысле Анненкова и Денисова уже нет. Они менее реальны, чем те, кого они убили».

Вот, пожалуй, и все.

Пока я писал эти страницы, я постоянно чувствовал возле себя биение двух сил, видел два мира, над моей головой скакали и стреляли красные и белые.

Ум, опыт, интуиция, перо моего собрата-следователя выявляли и воссоздавали только одну силу, неправую, виновную, казнимую силу прошлого, прошлое, если говорить в общем значении. Но другая, правая и победная, сама вторгалась на его страницы, и, хотя о ней писали другие в других книгах, другими словами, она искала своего места и здесь. И здесь было ее место, ее кровь. Здесь она судила.

Кровная наша — это и есть Советская власть.

Кровная потому, что она от нашей плоти, и еще потому, что большой крови стояла она нашим людям.



ПОСЛЕДНИЕ

www.elan-kazak.ru

ИНТЕРВЬЮ НА МЕСТЕ ПРЕДИСЛОВИЯ

Автор: Итак, первый вопрос, Михаил Андреевич, — где их судили?¹⁶

Гуськов: Там же, где и барона Унгерна, — в старом Новониколаевске, в саду «Сосновка». Унгерна, как известно, в двадцать первом, Бакича и его штаб годом позже¹⁷.

Автор: Там было помещение, способное принять двухтысячную аудиторию, — газеты тогда называли именно эту цифру? Летний театр барачного типа? Ну, а сосны? Были в этой «Сосновке» сосны и что там сейчас?

Гуськов: Сосны были, конечно. Правда, все это уже мало походило на тот корабельный красный лес, на кусок тайги, что оставили строители у железной дороги. Теперь там дома. Улица Фабричная.

Автор: Тогда вы были красноармейцем?

Гуськов: Да. Верхтриб ВЦИКа — так назывался суд, решавший дело Бакича, — имел команду охраны. В ней-то я и проходил службу. На суде у команды была своя воинская, или, как тогда говорили, революционная задача — я стоял на часах¹⁸.

Автор: Ваше наиболее памятное впечатление от процесса?

Гуськов: На суде — тишина. Это запомнилось. Люди внимали каждому слову. Позже я и сам более тридцати лет председательствовал в суде, но вот такого внимания и такой тишины — или это преувеличение юности — я, кажется, никогда не отмечал в судебных за-

лах. И еще одно — деловитость. Шла работа. Подсудимые находились под воздействием напряженной уверенной работы и полностью ей повиновались.

Автор: Как они выглядели?

Гуськов: Серые. Понурые. Ничего генеральского. Все, кроме одного, в светлых английских френчах.

Автор: И только один в рясе? Ну, а какой была аудитория?

Гуськов: Много рабочих, особенно железнодорожников, много красноармейцев. Крестьяне. Делегатки в кумачовых платочках.

Автор: Говоря о впечатлениях, вы подчеркиваете — на суде. У вас были стойкие впечатления и за его стенами?

Гуськов: Признаться, да. Бакич и прочие доставлялись из тюрьмы в «Сосновку» пешим порядком... Я — почти юноша. Рабоче-крестьянским правительством мне вручена трехлинейка. Она на боевом взводе — это приказ. В стране — нэп. На перекрестках города — праздная квелая молодежь. По губернии все еще ходят кулацкие банды. Конвой Чека усилен нашей командой и милицией. Впереди арестантского марша летят конные с обнаженными клинками. «Закрывать окна! Окна закрыть!» — подается команда. Зевак и извозчиков с их пролетками загоняют в проулки...

Автор: И вы чеканите державный шаг по голой пустой улице?

Гуськов: По голой и пустой, но внимающей каждому нашему шагу. И оттого мы идем с каким-то победным торжественным чувством: суд начинается, суд идет!

Автор: Вам не приходило в голову подсчитать, сколько раз в своей жизни вы занимали в суде место председателя? Тридцать три года... Если это помножить... Так вот, обегите взглядом это великое множество дел и судебных. Было ли среди них что-либо подобное делу Бакича и его штаба, по общественному весу, по силе испытываемого впечатления? Нет, конечно? Ну, а какие особенности вы могли бы выделить в нем сейчас, пятьдесят лет спустя?

Гуськов: Перед Верхтрибом стояли — последние. Последние генералы контрреволюции. Живые, но уже нереальные. На «Сосновке» закрывалась одна из последних страниц гражданской войны.

ОБОЙМА

Семнадцать чинов, семнадцать врагов рабочего дела — такой была обойма подсудимых на этом процессе. «Серые. Понурые. Ничего генеральского». Верно. Но какими они были до пленения?

Общая формула обвинения читалась так:

«... по делу установлено:

1) что Оренбургский корпус под командой генерала Бакича ушел на китайскую территорию (в начале 1920 года.—В. Ш.) с целью сохранить себя как военно-боевую организацию для дальнейшей борьбы с Советской властью,

2) что, находясь на китайской территории, Оренбургский корпус и пришедшая туда в мае 1921 г. так называемая «народная дивизия» под командой Токарева и Гноевых готовились для вооруженной борьбы с Советской Россией,

3) что, в целях подготовки свержения Советской власти, генерал Бакич со штабом вошли в связь с Японией и богдо-гэгэном Монголии,

4) что во исполнение приказа генерала Унгерна № 15 отдельный Оренбургский корпус и «народная дивизия» приняли участие в объединенном вооруженном наступлении на Советскую Россию».

Зерно формулы, ее несокращаемая и несокрушимая алмазная строка: подсудимые предприняли вооруженное наступление на Советскую Россию. В этом были обвинены семнадцать в «Сосновке». Но почему семнадцать? И почему именно эти?

Как всякая военная акция, авантюра э того похода была одета флером совершеннейшего секрета. Лишь горстка чинов знала, куда и зачем кочевало шеститысячное войско «братушки» Бакича, внезапно оставившее саманные стены на реке Эмиль, а затем и поверженную в осаде крепость Шара-Сумэ. В пристяжке с Бакичем шел предприимчивый, жестокий и коварный Кайгородов¹⁹, контакты с которым наводились до времени с помощью шифрованной почты и личных гонцов-курьеров из команд особого назначения. Бакичу казалось, что он идет под черной непроницаемой завесой и свалится на Советы как снег на голову. Но где-то в Новониколаевске уже стоял своего рода экран наблюдения, на который каким-то чудом проецировалось каждое движение корпуса. Бакичинцы не знали о себе того, что знали о них, к примеру, коммунисты Омского или Енисейского Севера.

Полистаем вот эту папку, читатель.

Информационно-политическое письмо Сиббюро ЦК партии, помеченное 1 декабря 1921 года и разосланное губкомам шести губерний — Новониколаевской, Алтайской, Омской, Томской, Енисейской и Иркутской.

Вот страничка шапирографа с именем Унгерна. Ведь это он, генерал-лейтенант барон Унгерн фон Штернберг, напутствовал Бакича в походе: «Твердо уповая на помощь божию, отдаю настоящий приказ и призываю вас, офицеры и солдаты, к стойкости и подвигу»²⁰.

Читаем в письме Сиббюро:

«...остатки банд Унгерна, после его ликвидации, ушли в Хайлар... Мелкие шайки Унгерна блуждают в глубине Монголии».²¹

Дальше о Бакиче:

«...нами отмечалось соединение Бакича с Кайгородовым у Кош-Агача. По-видимому, они не сумели между собой столкнуться, и Бакич повернул обратно, в Монголию».

И, наконец, о Кайгородове:

«Кайгородов, пользуясь тем, что наши силы были распылены, с отрядом в 1500 человек двинулся в глубь Алтайской губернии, распространился по Горно-Алтайскому уезду и стал непосредственно угрожать Бийскому уезду».

Партия знала, партия следила. И не только за маневрами скопищ врага. Чутко и полно проецировались и воинские массы, и фигуры самих военачальников — семнадцать уже вставали перед Верхтрибом.

Смольнин-Терванд, генерал, начштакор у Бакича, ни при каких обстоятельствах не забывал заносить в свою крошечную конфиденциальную тетрадь, названную им «Конспектом отчета», стычки, бои, смерти, катастрофы. Рядом с числом и пунктом по обыкновению возникало одно, редко два слова, лишенных прямого общепонятного значения. Расшифровать записи мог только их автор, полагавшийся на хорошо тренированную память. Начштакор оберегал свою тетрадь, носимую на месте креста на золотой цепочке. Между тем в штабе 5 армии, а затем и в секретной комнате Сиббюро против тех же чисел и пунктов стояли голыми все секреты осторожного начштакора.

«После поражения Бакича 25 октября в районе Хонур Улен (110 верст северо-западнее Кобдо), — сообщалось партийным организациям в следующем информационно-политическом письме Сиббюро, — его отряд отошел в направлении Кобдо... часть отряда отделилась и ушла в сторону Сов[етской] России, где сдалась



нам [отряд Бурлакова первой дивизии]. Другая часть под командой генерала Карнаухова численностью в 300—400 чел. ушла на юг от Кобдо в направлении Тибета, с целью якобы самоликвидации там. Сам же Бакич... двинулся на Уланком, стремясь проникнуть в Урянхай...»²².

Раненый зверь искал надежного прибежища, увлекая за собой свою тень, своего преследователя — созданный решением Сиббюро экспедиционный корпус 5 армии.

Новый бой в районе так называемого Русского дома — с отрядом красных партизан Кочетова. Бакич разбит наголову. Бегство в Монголию. Капитуляция.

И почти тотчас же — это январь 1922 года — полномочный представитель наркоминдела РСФСР по Сибири и Монголии Б. Шумяцкий докладывает Сиббюро из Иркутска по прямому проводу о подробностях этого события.

Шумяцкий: Относительно Бакича, взятого в плен вместе с четырьмя генералами, Хатан-Батором приняты меры, чтобы правительство Монголии, куда он был направлен, по доставке в Ургу, передало бы его нам...

У. аппарата Лашевич: ...Не можете ли ориентировать, когда и при каких обстоятельствах Бакич был взят в плен?

Шумяцкий: Остатки банды Бакича во главе с Бакичем бежали за Уланком, где были встречены — место и время не указаны — частями Хатан-Батора. Видя безвыходное положение, Бакич выслал Хатан-Батору делегацию для переговоров о сдаче. Хатан-Батор пред-



ложение принял, и его отряду сдались восемьсот человек бандитов во главе с генералами Бакичем, Степановым, Кирхманом и еще двумя, фамилии которых не указаны...²³

А чуть позже, утром, на рабочем столе Шумяцкого уже лежал доставленный на перекладных большой белый пакет, бумага великолепна — с пятью кармино-красными печатями. Серпастыми и молоткастыми. Его и сейчас можно обозреть в первом томе следственного производства. В верхнем и правом углу пакета цифра 44, поставленная следователем по особо важным делам. На пакете — четыре вертикальные строки по-монгольски, потом «Совершенно секретно», «Лично» и, наконец, четкая строка — «С препровождением 20 чел. военнопленных».

К пакету с четырьмя вертикальными строками монгольской вязи «прилагались» 20 военнопленных.

Сито отбора высеяло со временем семнадцать: генерал Бакич, генерал Смольнин-Терванд, генерал Степанов-Разумник, генерал Кирхман, генерал Шеметов, генерал Колокольцев. Далее семь полковников, подполковник, капитан, корнет — личный курьер его превосходительства барона Унгерна... И, наконец, поп.

Подсудимые стояли перед лицом неотразимо доказанного, детализированного и, как это ни странно, чрезвычайно общего обвинения. Это было, скорей, обвинением корпуса. Как же тогда их судили?

Ильин и Филимонов, уполномоченные особого отделения 26-й Златоустовской стрелковой дивизии, — расследование начинали они, — а затем и Штейнберг, следователь по особо важным делам Верхтриба, собрали обстоятельнейший уликовый материал, который, правда, не полностью покорился их логике, их препарированию, но главное в нем было обращено в нужную сторону и подкрепляло вполне индивидуализированные обвинения.

Листаю, перечитываю, извлекаю бумажки из пакетов. Под лупой плывут слова, встают события, картины, стреляют и митингуют красные и белые, отстукивают на машинке воззвания, торопливо вычерчивают кроки боевых позиций. Передо мной приказы и письма Колчака, Дутова, Унгерна, Анненкова, Кайгородова, Бакича, переписка Бакича с «его святейшеством» богдо-гэгэном Монголии, с князьями, с одним из китайских генерал-губернаторов, с женой, открытые листы, деловые бумаги церкви, архивы интендантов, доносы и донесения, рапорты, послужные и формулярные списки господ офицеров и чиновников военного времени, представления к награде, договоры на поставку мяса, дневники, стихотворные опусы, расписки о картежных долгах, некогда надушенные интимные послания — увы, теперь они хранят только пятна и разводы.

Все это было необходимо, стояло на отведенной позиции, было заряжено и работало на государственное обвинение.

Против каждого из семнадцати следствие составило свой отдельный том материалов. В одних случаях это был солидный томище, собравший под свои полы уйму бумажек и бумаг, в других — жиденькое дельце, но во всех случаях — против каждого из семнадцати — стоял свой самостоятельный свод, со своим обособленным заключением.

Семнадцать ручейков сливались в одно русло, и это одно общее являло собой обвинительный акт Советской власти.

Когда поднимался новый подсудимый, председательствующий менял тома, и оттого допрос всякий раз вращался вокруг вещей сугубо предметных.

ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ: ТОМ ПЕРВЫЙ

Визитная карточка Колчака. Белый бумажный прямоугольник на матерчатой основе. Будто кусочек туго накрахмаленного манжета, припачканного черной вязью: «Александр Васильевич Колчак, командующий флотом Черного моря».

Верчу карточку в руках. Куда ее предъявлял владелец? В чьи салоны, приемные, кабинеты церемненно вносили ее на подносе? Да и зачем она адмиралу — это не купец, не промышленник, не модный адвокат, завоевывавший богатую клиентуру? Попа представляет крест, адмирала — мундир и погоны.

История свидетельствует, что визитная карточка, как и черные визитные перчатки, считавшиеся когда-то монопольной принадлежностью «презренных шпаков», стали с некоторых пор чем-то обязательным и для русского офицера. Русский мундир сносился и свалился. Бежавшее от Октября золотопогонное воинство не находило зазорным обивать пороги — белочешские, японские, английские, американские, французские, ломать шапку, просить, унижаться. До 18 ноября 1918 года, до провозглашения «верховным правителем России», Колчак, состоявший в услужении у английской короны, наносил визиты в приемные экзотической Месопотамии и не менее экзотического Сингапура. Кусочек «манжета» с его именем видели в США, на Дальнем Востоке, в Омске.

Генерал Бакич, главный обвиняемый по «делу семнадцати», что в мае 1922 года слушалось в Новониколаевске Сибирским отделением Верхтриба ВЦИК и на какое-то время стало злостью дня новой России, во многом повторял Колчака, которому молился, но в одном пункте был вполне оригинален.

Днем его катастрофы и хорошо взвешенной капитуляции было 16 (29) декабря 1921 года. Распоясываясь, чтобы уже никогда не надеть ремня, Бакич расставался с надеждой вернуться в Россию на белом коне триумфатора, с властью и любовницей, с караваном из двенадцати верблюдов, навьюченных «его» серебром, «его» мехами, со штабной перепиской, именным оружием и, наконец... с коробкой из-под сигар, набитой до отказа визитными карточками. На одних

карточках стояло: «Андрей Степанович Бакич, одесский и санктпетербургский коммерсант» (сначала одесский и лишь добавлением санктпетербургский), на других: «Генерал-лейтенант Бакич, начальник отдельного Оренбургского корпуса. С нами бог!»

Колчак удовлетворялся визитной карточкой одного значения: он всегда оставался военным, представлял только военную касту. Бакичу одной этой принадлежности не хватало, и в этом он превосходил своего кумира. Генерал еще любил покупать и продавать. Случалось, он уходил в отставку, снимал мундир, надевал соломенную шляпу-канотье, отпускал и красил бакенбарды. Поигрывая роскошной тростью, появлялся в залах аукционов, на черном рынке и на черной бирже, в конторах промышленников и купцов, в облюбованных спекулянтами кабачках и «хазах».

Обозник Бакича, безоружный офицер, который, как и его повелитель, мерил те же китайские и монгольские версты, но шел — и пришел — домой, чтобы сдать ся, вспоминал о походе в Россию.

«На сером жеребце арабской крови мимо проезжал Бакич, огляделся, улыбнулся, быстро спрятал улыбку в крепкие черные с проседью усы и приказал... двигаться дальше. Я сидел на кочке и внимательно рассматривал его: властное, почти жестокое, лицо, с крупным носом, всегда надвинутая на черные спокойные глаза фуражка, жесты грубых и загоревших рук и вся его посадка говорили: я здесь ваш господин. Спрятанной улыбкой еще больше подтвердил впечатление. Что ж? Проезжай, господин. Проезжай, подрядчик! Я отдохну немного и пойду считать следы копыт твоего коня»²⁴.

Бакич — владыка. Символ безмерной власти. Картина: «Я ваш господин!» И тут же — «подрядчик», торгаш, мелкий копейщик.

Здесь мы выделяем только эту деталь.

В бумагах следствия — строка о Бакиче: «окончил 6 классов Александра короля сербской гимназии в Белграде». Он — серб. Россиянином же его сделала ошибка королевской Фемиды. Кому-то почудилось, что гимназист Бакич имеет «прикосновение» к покушению на жизнь экс-короля Милана. Гимназист Бакич был так же далек от покушения на Милана, как сам Милан, но власти нашли «общепольным» закрыть глаза на это, ставшее очевидным, обстоятельство и, «побуждаемые

целями престижа и общей превенции», выслали его в Константинополь. Бакич перебрался на русский берег Черного моря и в 1900 году стал младшим портупей-юнкером, по-нашему, курсантом, Одесского военного училища. Достаточно тупой, достаточно невежественный, вечный фельдфебель по кругозору и задаткам (так называли его на всех этажах его же корпуса солдаты, прапорщики, генералы), он долгие десять лет после училища отирался в мелких чинах «военной коммерции», покупал лошадей, заведовал хлебопечением, был квартирмейстером, заготовлял фураж и овчины. В 1913 году вышел в отставку, чтобы покупать и продавать без угнетающего догляда полкового артельщика. Год в Монголии в амплуа коммивояжера Русско-монгольского торгового товарищества. Другие лошади, другая закупка. Золотые империялы, подношения мехами, кутежи, «девчонки, пахнущие степью». Потом война с Германией, снова щегольский мундир, командование полуротой, ротой, батальоном, «выказанная на благо России храбрость». Орден. Еще один.

— Как вы приняли Февральскую революцию, Бакич? — спросил председательствующий Верхтриба.

Отвел глаза. Подумал.

— Двойко.

— То есть?

— Считал — несвоевременной... Россия воевала, а тут...

— Вроде бы подножка?

— Так точно.

— А что же второе? Почему двойко?

— В подходящее время я принял бы революцию, как свое дело. Числю себя демократом.

— А точнее?

— Я славянофил.

При всем своем политическом одичании Бакич знал, какие партии существуют в России, но перегородки между ними ставил наивно, невежественно и получалось — лучше бы их не было вовсе. Вступая на пост «верховного правителя», Колчак в торжественном, почти тронном, заявлении обещал своей камарилье не идти «по гибельному пути партийности». В кругу Бакича эти слова считали знаменем твердой власти, перлом ума и дальновидности. Но перед странами Согласия, перед хозяевами играли в демократию, поносили боль-

шевиков за братание на фронте, за разгон Учредительного собрания, за Брестский мир... Для этой игры Бакич выбрал удобную, как он думал, маску славянофила. Этой маски он не снимал и в суде.

— Платформа славянофилов — монархия. Вам нужен царь, подсудимый?

— Нет.

— Но славянофилам нужен царь. Им не нужна революция. Вы что-нибудь читали об этом: книги, брошюры?

— Никак нет.

— Тогда что же объединяет славянофилов, в вашем представлении?

— «Наши враги — немцы...» Пойдите, я это хорошо знал...

— Это какое-то извлечение?

— Да. В Париже... в общем, на сборе сербских студентов, — Бакич трет переносицу. — Сейчас вспомню. В общем... в прошлом веке полководец Скобелев говорил сербам, что война... ну да... война тевтонов и славян неизбежна. И что будет она кровопролитная, долгая и страшная.

— Значит, славянофилов в вашем представлении объединяет общий враг — немцы. И что-нибудь еще? Понятно, понятно, вы не теоретик. Тогда скажите, как вы повели себя при наступлении немцев на Псков?

Молчание.

— В таком случае посмотрим, что есть в деле.

Тотчас же выясняется, что Бакич после Февраля вышел в так называемый резерв чинов Керенского и тут же с головой погрузился в свое вождельное спекулятивное море — на этот раз в Гатчине. Приказ большевистского Совета вернул его в армию. Он принял 545-й пехотный полк, но в феврале 1918 года, в канун боев с немцами под Псковом, «исхлопотал», с помощью сербской миссии, визу на возвращение в Сербию и оказался в Самаре. Самара тех дней была средоточием чехословацких легионеров, тайно собиравшихся в Струковском саду над Волгой. Тут занималось злое пламя белочешского мятежа.

— Обвинение считает, что сербская виза и Самара — уловка, к которой вы прибегли, уклоняясь от боев с немцами. Право ли обвинение?

— Не совсем... Впрочем, да.

— Обвинение считает далее, что уклонение от долга, с заведомым намерением перейти к белым, есть предательство, измена красному знамени. Право ли обвинение?

— Нет. Я действительно хотел уехать в Сербию. Но... но передумал.

— Ваше отношение к Октябрьской революции?

— Гм, гм... В общем, отрицательное. Меня пугало выборное начало в армии.

— Что вы делали в Самаре?

— Торговал.

— Чем, к слову сказать?

— Сахарином. В ходу было также турецкое кофе, керосин, потом эти... дамские корсеты из атласа...

Председатель поморщился.

— Затем?

— Затем — белое движение.

— Попытаемся восстановить ваш послужной список у белых. Называйте дату вашего очередного назначения, военачальника, издавшего приказ, ваш чин, новую должность. И так — от Самары до Монголии.

— Слушаюсь и докладываю. Второго июля восемнадцатого года генерал Лебедев...

— Помогаю — генерал Лебедев назначает вас...

— Начальником второй Сызранской пехотной дивизии и командующим Сызранской группы войск Колчака. Я в чине полковника.

Обкатанная дорожка военной лексики. Теперь Бакч не спотыкается на каждом слове.

— Дальше.

— Шестнадцатого февраля девятнадцатого года по приказу казачьего генерала Белова я получаю в подчинение четвертый Оренбургский армейский корпус с производством в следующий чин генерал-майора. Затем, в долине Ишима... Помню, где и, к сожалению, не помню, когда...

— Но, очевидно, помните, после каких событий?

— События горестные. Генерал Белов фланговым движением тыла и фронта поставил себя под удар красных войск и погубил всю Южную группу. Я же, приказом походного атамана всех казачьих войск России генерала Дутова, поступаю с остатками корпуса в его подчинение. Чин мой тот же.

— Дальше.

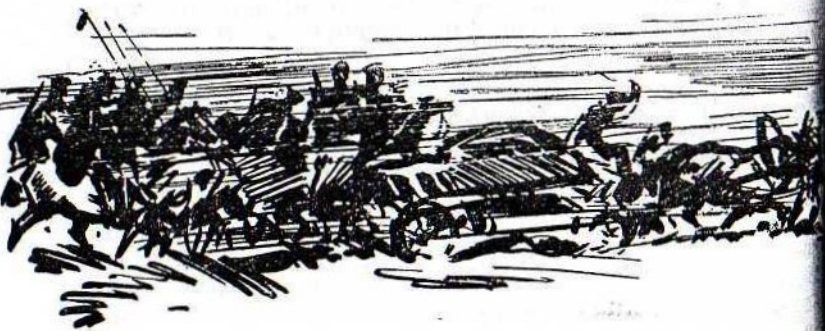
— Дальше Анненков. Тиф. Голод.
— Бегство в Китай, интернирование?
— Так точно. И если продолжать, в Китае у меня снова над головой атаман Дутов. И только в двадцать первом, после двадцать пятого января, я — вольный казак — в этот день в своем штабе в Сайдуне был убит Дутов.

С последними словами тенью, неверной мотыльковой тенью — едва приметная улыбка. Первая улыбка со скамьи подсудимых за долгие часы процесса. Бакич мгновенно прячет ее, но она замечена. Карандаши репортеров увековечат ее, судебная хроника назовет и истолкует эту частность процесса.

Смерть в Сайдуне, по-видимому, чем-то отрадна подсудимому. Чем же?

Бакич верил в свою звезду, видел ее высоко и был уверен, что имя его останется в истории. Остряки из его штаба говорили, что их «главковерх» не совсем гождя для роли Наполеона, так как не имеет ни императорского брюшка, ни императорской треуголки. Сам же он вполне серьезно принимал лестные прожекты угодников, видевших его на осиротевшем посту «верховного правителя» или даже монархом российским. С убийством Дутова Бакич уже не хотел признавать над собой ничьей власти, о чем он и поспешил сказать приказом № 026, помеченным 3 марта 1921 года:

«Подчиненные мне войска, как войска одного Всероссийского правительства, возглавляемого адмиралом Колчаком, правительства уже не существующего, естественно, не могут быть законно подчинены никому, кроме меня».



Председательствующий: Следствие утверждает, что на реке Эмиль, где подчиненный вам корпус стоял лагерем после бегства из России, царствовала диктатура лозы и пули. Вы самолично, утверждает далее следствие, резали лозу в прибрежном колке и самолично же пороли людей, военных и невоенных, а ваш конвой расстреливал солдат и казаков, заподозренных в красных настроениях, иногда по постановлениям полевых судов, а иногда и без суда и следствия. Право ли обвинение в этом своем пункте?

Бакич: Нет. Экзекуции отменены, я это хорошо знаю... Нет, нет.

Председательствующий: Ну, а расстрелы?



Бакич: Экзекуции, возможно, и случались по злему почину послушников... Расстрелов же не было.

Председательствующий: Так и запишем: расстрелов не было. Потрудитесь теперь собраться с мыслями и ответить еще на один вопрос. Заняв Шара-Сумэ, вы объявили город военной добычей, предметом трехдневного ненаказуемого грабежа. Здесь же утверждаете: число себя демократом. А кем вы были в Шара-Сумэ, воскрешая дикие обычаи царя Кучума?

Бакич: Города на грабеж я не отдавал.

Председательствующий: Но ведь есть улики. Показания тех, кто грабил, показания тех, кого грабили. Письма, рапорты, наконец, сам факт опустошений и грабежей.

Бакич: Грабителей я преследовал! Только!

Председательствующий: Что ж. Попросим, в таком случае, у секретаря том... том восемнадцатый и попытаемся закончить наш урок с наглядными пособиями...

КТО ЖЕ ОН, НАКОНЕЦ?

Палач. Авантюрист. Существо, мыслящее рутинно, а порой и нездорово. Насаждатель «вековых правил», идущих от палочной академии Николая I. Монархист чистейшей воды.

Как и генерал Болдырев, главнокомандующий войсками Уфимской директории, он был убежден, что российское офицерство, с утратой привычных стереотипов, чинов, наград, достаточно высокого и устойчивого казенного обеспечения, традиций, положения в обществе, потерпело от большевистского переворота куда больше, чем все другие привилегированные сословия России.

Бакича спросили в суде:

— Знали ли вы о монархических убеждениях барона Унгерна?

— Не знал, — ответил подсудимый.

— И в то же время хорошо помните его приказ номер пятнадцать?

— Да. Хорошо.

Председательствующий развернул мышасто-зеленый том с бумагами следствия и прочел из унгерновского приказа вот это место:

«Россию надо строить заново, по частям. Но в народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя лишь одно: законный Хозяин земли русской, император всероссийский Михаил Александрович, видевший шатание народное и словами своего высочайшего манифеста мудро воздержавшийся от осуществления своих державных прав до времени опамитования и выздоровления народа русского».

— Заметьте, подсудимый, — сказал председательствующий, — слово хозяин поставлено в приказе с большой буквы. Это бросается в глаза. И, следовательно, вы, хорошо помнящий текст приказа, не могли оставить без внимания этой подробности. Унгерн — монархист. А вы?

Бакич молча глядел открытыми глазами куда-то поверх головы председателя. Да, он плохо сводил концы с концами.

Унгерн не доверял «развращенному науками революционизированному Западу», связывал будущее мира с потенцией Востока, «строил» Желтую империю под эгидой Японии и был убежден, что миру нужна китайщина — раболепие, бесправие миллионов, всегда виновные и всегда правые. Эгида Японии и китайщина перед державной властью, перед исключительностью и озарением монарха были нужны и Бакичу. Славянофильство же он носил только на языке.

Человек характера зыбкой трясины, он был двоедушен, честолюбив, неверен, упрямо, а нередко и бездумно решителен, неумен, но плеть кружева мелких интриг и сталкивать враждующее оружие наловчился.

Заправский щеголь в превосходно сшитом мундире, всегда при орденах, при пашке, с ухоженными толстыми усами, поднимавшими к небу многозначительные острые шильца, он любил себя, следовал и угождал любому вожделению, которое в нем дремало. Жил как помещик. В походе таскал за собой... домашнюю птицу, свиней, коров, имел богатую конюшню парадных лошадей, рессорные ландо. Серебро и золото хранил у себя в кованом ящике под кроватью. Не забывал менять жен — «ночных» и «законных». Муссировались упорные слухи, что вторую «законную» жену (ради третьей) он убил выстрелом из маузера, а за третью уплатил настолько обременительный для корпуса калым, что едва не вызвал мятежа подчиненных.

Обходился без книг, без театра, без музыки.

Был храбр, утверждает следствие, но смертельно боялся грома, а чтобы избавиться от бородавок, носил под перстнем с бриллиантами суровую нитку.

НАЧШТАКОР: ТОМ ВТОРОЙ

Играли на серебро.

Смольнину-Терванду карта не шла, и карманы его скудели с каждым роббером.

— Ва-банк! — сказал он, выбирая остаток папирос из массивного серебряного портсигара и кладя его на карточный столик. — Откройте карту, подхорунжий!

Подхорунжий выбросил валета червей.

— Бита! — сказал он равнодушно и, щелкнув выигранным портсигаром, принялся добывать из карманов и закладывать под резинку гвоздики шанхайских сигарет.

Смольнин-Терванд, начальник штаба корпуса, или, по-другому, начштакор, вернулся домой раньше жены, развлекавшейся танцами в офицерском собрании. К ее приходу он сидел за столом и, как уже повелось в последние годы, тянул из рюмки желтоватый контрабандный спирт. На столешнице лежал браунинг.

— И снова она возлежала на знойной руке пьяного гусара... — сказал он навстречу жене внятным и трезвым голосом.

И вдруг с внезапным бешенством:

— А ну, к стенке!

— Боже, Иван!..

— Ни одного слова! Ты омерзительна мне после этих публичных да и уединенных, я думаю, объятий. К стенке!

Отчетливо клацнул взводимый курок.

— В наказание за слишком легкомысленное отношение к долгу брака — жена должна пребывать к мужу в любви, неограниченном почте



нии и послушании — назначаю получасовую выстойку под пристальным взглядом вот этой штучки. Малейшая попытка изменить позу, и я стреляю без предупреждения.

Десять минут. Пятнадцать... Тело женщины сползает по стене. Обморок.

Частный случай из супружеской жизни начштакора отдельного Оренбургского — мы изъясняем на этот раз строго по-военному — запечатлен в материалах дела: том I, лист 86. Сразу же заметим, что жестокость, которою он соперничал с Бакичем, была конечно же обращена не только против жены, но и против подчиненных и неподчиненных. Достаточно сказать, что в руках его были все нити контрразведки, а тайная агентура являлась к нему на личные свидания и оплачивалась только из его рук.

По иерархии чинов Смольнин-Терванд был шапкой ниже его превосходительства генерала Бакича — второе лицо в корпусе. По весу же, а, следовательно, и по тяжести содеянного, едва ли не первое.

Из того же листа 86 мы узнаем, что сей военачальник был приписан к генштабу русской армии — как и всякий другой, кто оканчивал академию генштаба. Генерал. Очень молод, без ощутимого боевого опыта, но держался как настоящий полководец. Кричать и говорить не любил. Не любил и шутить: был



мстителен и жалил, по обыкновению, тайно. Дипломат. Самоаттестовался кадетом. Октябрьскую революцию считал эксцессом, явлением, не вытекающим из логики исторического процесса. Преклонялся перед Корниловым, поскольку корниловщина, по его убеждениям, таила в себе элемент оздоровления и восстановления русской армии.

Материалы свидетельствовали далее, что, наряду с контрразведкой, Смольнин-Терванд управлял также и аппаратом осведомления подчиненных, писал воззвания, оперативные сводки, составил «для России» документ, нареченный им «Программой власти». Никаких лестных достоинств этой программе не приписывал, а был лишь удовлетворен тем простым фактом, что состряпал «нужную и диковинную фальшивку». Ни в людей, ни в будущее он не верил.

В войсках романовской России Смольнин-Терванд начинал вольноопределяющимся второго разряда, юнкером пехотного училища. Потом академия генштаба, за нею должность офицера для поручений при штабе Иркутского военного округа, должность старшего адъютанта пехотной дивизии в Чите...

Был в Красной Армии, но почти тотчас же перекинулся к белым. В собственном его изложении это звучало нейтрально: «Присоединился к чехам и Самарской учредилке». Дождь наград и чинов пролился на него в царствование Колчака.

«Имеет ордена: святого Станислава 3 степени, святой Анны 3 степени с мечом и бантом, святого Станислава 2 степени...»

Так начинается третий раздел его послужного списка. Последняя же запись более чем любопытна: «Представлен к ордену святого Владимира 4 степени с мечами и бантом (результат представления вследствие захвата власти большевиками неизвестен)».

Впрочем, крах омского правителя, успевшего даровать Смольнину-Терванду чин полковника, не остановил его безостановочного восхождения. В январе 1920 года, в одно из тех чисел, когда агонизирующая «белая империя черного адмирала» катилась к пропасти, а сам адмирал, подпираемый золотым эшелонном, преодолевал последние версты к своей ледовой могиле, на юге азиатской России родился новый генерал.

Хлопали елочные хлопушки. Реял серпантин. Сдвигались над головами стаканы, а корпусной благочинный в несвойственной ему роли штабного объявляющего дважды поднимался над столом и, упираясь окающей октавой в каждое слово, читал дьячковским распеваем приказ «одного из сильнейших мира сего».

«Вследствие перерыва связи с Всероссийским правительством и полной потерей связи со штабом фронта за выдающиеся боевые отличия, впредь до утверждения Верховным правителем, условно произвожу из полковников в генерал-майоры по генеральному штабу и. д. начальника штаба IV армейского Оренбургского корпуса Терванда-Смольнина».

Под приказом стояла подпись атамана Дутова.

В третьей книжке «Сибирских огней» за 1922 год член Сиббюро ЦК большевиков и тогдашний редактор журнала Ем. Ярославский называет Смольнина-Терванда жестоким и талантливым. «Талантливый» — это предостережение. Талантливый враг. Особенно опасный. Расчетливый. Тонкий. А поскольку еще и жестокий — явление, требующее удесятенной бдительности.

Эту особенность своей натуры Смольнин-Терванд демонстрировал и под крышей театра в «Сосновке».

Бакич защищался в суде по-страусьи. Прячась, выставлялся. Говорил нет, после чего обвинитель или председательствующий читали бумагу и выходило да. Говорил, не подписывал, председатель тыкал пальцем в бумагу и выходило — подписывал. Начштакор же бил в глаза полной открытостью и даже поигрывал, пожалуй, своей доказанной враждебностью к рабочему делу. Вроде бы перебирал в признаниях.

Раскроем том 21-й и прислушаемся к одному из этих его признаний:

«Если бы у нас было оружие и огнебоеприпасы, мы стали бы продолжать войну с Советской властью и после перехода через границу, хотя тогда я уже понял, что власть Советов крепка единением с народными массами».

«Хотя» — выделено мною.

Рискованнейшее признание! Начштакор балансирует на лезвии ножа. Но признания его обращены к прошлому, только к прошлому. После перехода границы. Тогда!

Теперь же — полное разоружение. «Бакич все еще черен душою, тогда как я... Я чистосердечен, как ви-

дите, и не назойлив в своих изобличениях и признаниях». Яростью кипел он лишь по поводу свидетельств о негативах его натуры. Что это? Ненасытное, ранимое честолюбие или все тот же изощренный ум человека, спасающего жизнь?

Председательствующий прочел вслух весьма неприятную, скажем точнее, язвительную характеристику Смольнина-Терванда из дневника полковника Троицкого, начальника оперативного отдела — ближайшего по табели подчиненного начштакора.

Смольнин-Терванд назвал характеристику досужим безответственным сочинительством.

— Подобное мог написать лишь мальчишка, юнкер, неодобрительно относящийся ко всем генштабистам, — сказал он. — Отрицаю!

Председательствующий полистал шшив и огласил еще одни свидетельства о начштакоре. Вот они.

«Деспотичный, самолюбивый, наглый, самоуверенный, относящийся с презрением ко всем стоящим ниже. Сухой, черствый, крайне злопамятный... Достаточно посмотреть на хитрые, злобно-деспотичные тонкие губы, чтобы сказать: этот человек для достижения своей цели не задумается над гибелью тысяч людей».

Это из письма полковника Нигова.

— Что имеете сказать, подсудимый, по поводу прочитанного? — спросил председательствующий.

Злобно-деспотичные тонкие губы остаются сомкнутыми.

— Полковник Нигов нарисовал собственный портрет! — говорит он. — Отрицаю!

ПОП: ТОМ СЕДЬМОЙ

У божьего слуги, чей жизненный путь прослежен в томе номер 7, была роскошная енотовая борода — сияние во всю грудь, очки в золоте, припухшие глазки, а грохочущая октава при случае шелестела мягко и шелково, как и его ряса.

Иванов, уполномоченный особого отдела 26 дивизии 5-й Красной Армии, пригласив благочинного для разговора, не спеша зарядил трубку листовухой и, ожесточенно пыхтя, стал раскуривать.

— Значит, не курите, батюшка? — спросил из-за облака. — Ну, что ж, похвальная забота о здоровье.

Памятка сотрудника ЧК предписывала ему быть корректным, вежливым, не кричать, зная при этом, «где проявить твердость».

Иванов знал.

Протянув через стол газету с очерченными синим карандашом двумя колонками, он пояснил подследственному, что это декрет Советской власти об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих.

— Так вот, — проговорил он, — при аресте у вас изъято кое-какое золотишко...

— А что, если суд скажет, что я чист, безгрешен? — взъерошился поп, и глазки его просияли твердо и лукаво.

— Ну, что ж, скажут так скажут. Но и при этом золотые вещи вам обратно не вернут. Закон. Так вот, я читаю: дароносица золотая, кадило золотое, золотая риза на иконе святителя Николая, наперстный крест синодальный, золотой, наперстный крест на георгиевской ленте, золотой, золотая оправа евангелия, ордена святой Анны третьей и второй степени с мечами, орден святого Владимира... Ну, ордена, пожалуй, дело копеечное. Фальшивые железки. Так вот, обо всех этих предметах суд будет постановлять соответственно декрету. Но это когда? А вот люди, как знаете, пухнут от голоду в данное время. — Уполномоченный помолчал, потоптал пепел в трубке. — Словом, решайте. Или сейчас или потом, на суде. В вашей это власти.

Припухшие глазки благодушно прикрылись веками — сочувствую, сознаю.

Но пока только глазки.

— Я не неволю, — продолжал уполномоченный. — Вот бумага, вот ручка, чернила. Решайте на свое усмотрение.



Толстенные пальцы его преосвященства тянутся к бумаге. Подул на перо, скребнул по грибе, вывел:

«Принимая во внимание ужасное положение на почве голода в Поволжье,— строчит поп через минуту,— я, как честный христианин веры православной, все эти вещи... передаю тов. Иванову для того, чтобы он передал таковые в комиссию по оказанию помощи голодающим Поволжья. Подписку даю добровольно и в полном рассудке ума».

Чистый херувим. Воплощенная добропорядочность. Таким он был и на процессе.

От него постоянно исходило какое-то покорное ласковое понимание, едва ли не обожание, которым он встречал любое движение в суде, любой вопрос и даже любое обвинение. «Я честен, я умерял дух вражды, а не возбуждал его. Вы должны это видеть. Вы, конечно, это видите».

Председательствующий спросил:

— Георгиевский Федор Михайлович?.. Правильно ли я произношу вашу фамилию, имя и отчество, подсудимый?

— Так точно.

— Из армии вы были отчислены после перехода власти к большевикам и по основанию отделения церкви от государства. Не так ли?

— Так точно.

— И почти тут же сознательно перешли к белым?

— Так точно.

На вопрос обвинителя, как он согласовывает христианскую проповедь любви, смирения и жертвенности с призывом к оружию, к казни беззащитных, Георгиевский заулыбался, как счастливый жених, и доверительным тоном изложил заготовленную заранее сентенцию:

— С точки зрения христианской морали я осуждаю и проклинаю всякую войну. С точки же зрения патриотизма я ее оправдываю. Я — сын России.

— На словах этот человек благословлял людей на подвиги любви,— говорил в своей речи обвинитель,— на деле же толкал на погромы. Да и кого? Унгернов и Бакичей!

Среди наград, коими был удостоен отец Федор,— орден святой Анны с мечами и бантом — это за боевые отличия, наперстный крест на георгиевской ленте — и это за боевые отличия. Сын полкового попа,

а затем и сам полковой и даже корпусной поп, Георгиевский более тридцати лет окуривал благовониями солдатские молебствия — в часовнях, крепостных храмах, на парадных плацах и на полях боя. Для четырнадцати полковых и дивизионных священников это было начальствующее лицо, но он неплохо знал, и как вынимается шашка.

Случалось, закручивал патлы в узел, совал под фуражку и скакал через пожарища, кружа палашом над головой. Ряса приторочена к задней луке, и — казак по всей форме, разве что сыроват и грузноват для небольшой монгольской лошадки.

Бумаг против Георгиевского было много, но одна, подшитая в папку в день процесса, жгла особенно нестерпимо.

«Я, красноармеец Мальцев, — говорилось в ней, — был в плену у Бакича в 1921 году 11 мая и видел собственными глазами, как одному политруку резали сквозь кошму горло офицеры. И тут же присутствовал благочинный Бакича... Когда казнили они политрука, то этот поп угрожал на нас и говорил: «Вот видите, что мы сделали этому коммунару, то же самое будет и вам». И много других было надругательств с его стороны. Но тут началось наступление со стороны наших, и они не успели казнить нас. А ночью нам удалось бежать».

Поп как поп. Традиционный. Разумеется, для своего времени и для того воинства, над которым рокотала его приказующая октава.

ИСТОРИЯ ЗЛА

Рассмотрим теперь пообстоятельней обвинительное заключение и те материалы — не только судебные, — что проливают свет на главные пункты обвинения.

«С разгромом армии Колчака, — читаем в обвинительном заключении, — остатки отдельного Оренбургского корпуса под командой генерала Бакича согласно приказу командующего Южной армией атамана Анненкова от 20 января 1920 года в целях сохранения корпуса для борьбы с Советской властью перешли китайскую границу с оружием и боевыми припасами и остановились лагерем на реке Эмиль (том 18, стр. 33, 5 и 7)».

Белая империя, черный адмирал...

Катастрофа.

Омский правитель и его агонизирующая империя катились к своей последней черте.

Но значило ли это, что агония и развал шли только главной артерией, а тут, у Анненкова и Бакича, волна катилась в обратную сторону? Не значило, разумеется.

Атаман Анненков, по указующему персту которого орава белых хлынула через окно Джунгара на чужие земли, писал в 1926 году в брошюре «Надо ли бороться со своим народом и его правительством»:

«В средних числах декабря 1919 года Оренбургская армия (армия под командой атамана Дутова с 4-м Оренбургским корпусом генерала Бакича в ее составе.— В. Ш.) стала вливаться к нам: 22 тысячи человек (12 тыс. бойцов)... Красная конница, 450 шашек, преследовала ее, не встречая сопротивления, забирала пленных, орудия, пулеметы, обозы».

Бегство. Изгнание.

И, если говорить точнее,— исторжение. Исторжение зла народом.

Чтобы пресечь хаос, Анненков хватается за крайние средства.

«В первый день Нового, 1920 года,— стояло начальным параграфом в его приказе № 14,— поздравляю все войска отдельной Семиреченской армии (поглотившей армию Дутова, именуемую в обвинительном заключении Южной.— В. Ш.) и желаю счастья и успеха в ратных делах... Успех красных на нашем Восточном фронте еще не означает полной победы большевизма».

И без перехода:

«Приказываю: замеченных в распространении провокационных слухов, агитирующих в пользу большевизма, немедленно расстреливать на месте. Право приводить в исполнение расстрел таких негодяев даю каждому офицеру и добровольцу (выделено мною.— В. Ш.)... Борьба с такими предателями должна вестись беспощадно, так как они хуже большевиков, ибо находятся среди нас...»

Это «среди нас» не было призраком, «зыбкой тенью воображения», это была реальность. Суровая, казнящая. Логика событий грозила взорвать армию в бунте.

Контрразведка доносила: за одну ночь бежали к красным 18 казаков из Воткинской сотни голубых улан. Сотня выведена в степь. Вся сотня. Обезоружена. Два анненковских полка: «гусаров смерти» и «Маруся отравилась» рубят воткинцев шашками, как лозу

на учениях. Бригада генерала Ярушина отказалась драться с красными. Анненков расстрелял бригаду.

В мемуарах «Колчаковщина» он признавался, что его глодала тогда неотступная, цепенящая ужасом мысль: а как, чтобы свои не стреляли в затылок? Просто, решает он. Есть шашка, есть длинная палаческая палка, называемая суголами, есть слово брата-атамана, которому верят.

Широко афиширована «милость» Анненкова: Восток открыт, родная земля перед вами, кто хочет домой, в Советскую Россию, идите! Настанет час, и мы соединимся с вами!

Тысячи людей кладут оружие на землю. Тысячи людей поворачивают к родным гнездам. Идут день, другой. Тысячи людей никнут под шашками и суголами.

Позже напишутся слова: «Зверства Нерона и Калигулы не изжиты веками, а ведь их убийства не более, как мелочь в сравнении с деяниями лихого атамана». А пока 22 тысячи дутовцев-бакичинцев тащатся к речке Бахтинке, которая не русская и не китайская. Общая!

Что же произошло?

Какая сила разоружила белогвардейские скопища? Почему многие разуверились в том, за что еще так недавно боролись? Даже шашки, даже суголами бесильны были теперь вернуть их на позицию. Почему?

У Ленина есть на этот предмет блестящее разъяснение. Воспользуемся им:

«...Крестьяне в Сибири, эти крестьяне крепостного права не знали. Это — самые сытые крестьяне, привыкшие к эксплуатации тех ссыльных, которые из России появились, это крестьяне, которые улучшения от революции не видели, и эти крестьяне получали вождей от всей русской буржуазии, от всех меньшевиков и эсеров, — там их были сотни, тысячи. Например, в Омске теперь одни насчитывают 900 тысяч буржуазии, а другие — 500 тысяч. Вся буржуазия поголовно сошлась туда, все, что было претендующего на руководство народом, с точки зрения обладания знаниями и культурой и привычкой к управлению, все партии от меньшевиков до эсеров сошлись туда»²⁵.

И дальше:

«Они имели крестьян сытых, крепких и не склонных к социализму, имели помощь от всех государств Антанты, от госу-

дарств всемогущих, которые держат во всем мире власть в своих руках. Они имели железнодорожные пути со свободным доступом к морю, а это значит полное господство, потому что флаг союзников не имеет в мире никакого противника и господствует на всем земном шаре. Что же еще не хватало? Почему эти люди, которые собрали все, что можно было собрать против большевиков: и край из крепких и сильных крестьян, и помощь Антанты,— почему они после двухгодичного опыта так провалились, что вместо «народовластия» осталось дикое господство сынков помещиков и капиталистов и получился полный развал колчакии, который мы осязаем руками, когда наши красноармейцы подходят к Уралу как освободители. А год тому назад крестьяне говорили: «Долой большевиков, потому что они возлагают тяжесть на крестьян», и переходили на сторону помещиков и капиталистов. Тогда они не верили тому, что мы говорили; они теперь сами это испытали, когда увидели, что большевики брали одну лошадь, а колчаковцы брали все,— и лошадей, и все остальное, и вводили царскую дисциплину»²⁶.

Колчаковцы брали у крестьян все и вводили царскую дисциплину — вот что революционизировало «самых сытых» крестьян России.

«Мы бесконечно сильными стали потому,— развивал далее Владимир Ильич свою мысль,— что миллионы научились понимать, что такое Колчак; миллионы крестьян Сибири пришли к большевизму,— там поголовно ждут большевиков,— не из наших проповедей и учений, а из собственного опыта...»²⁷.

Листок.

На привычном месте темно-лиловый штампик. Два слова строкой: «Атаман Анненков». Число, месяц, год, отстуканные на картавой машинке, плохо выговаривающей букву «р». Дату приказа мы знаем из обвинительного заключения: 20 января 1920 года. Бумага, повелевшая Бакичу оставить пределы России, сохранилась в подлиннике. Воины Сухэ-Батора извлекли ее из переметной сумы, притороченной к седлу плененного генерала. Теперь это листок. Коротенькая страничка в архивной папке, никого и ни к чему не обязывающая.

В строгом смысле это, пожалуй, и не приказ. Но и не письмо, не отношение. Под темно-лиловой строкой есть слово «приказываю». И вот как оно поставлено:

«В том случае, если противник начнет активные действия и наши части будут не в состоянии сдерживать наступление, то, в целях сбережения оренбургских частей, приказываю перейти китайскую границу в районе Бахтов с оружием и боевыми припасами».



Пункт обвинения: уходя за пограничные знаки, Анненков и Бакич имели целью сохранить военно-боевую организацию для последующего вторжения в Россию. Обвинительное заключение, как видно, строго и точно. В этой части оно лишь повторяет коротенькую бумажку из архивной папки.

Себя Анненков называет в приказе командующим южной группой войск, Бакича — северной. А где же одиознейший Дутов, походный атаман всех казачьих войск России? Ускакал в Китай? Готовит с генштабистами операцию икс? Запил?

Анненков распечатал пакет: «Двигаясь в нашем направлении, атаман Дутов проследовал...»

Хлопнул в ладоши.

— Подъесаул Торговников, поедете со мной встречать атамана Дутова!

Добыл из кармана часы купеческого вкуса, в незабудках из нежно-бирюзовой ляпис-эмали. Открыл.

— Записывайте приказания. К пятнадцати тридцати к штабу — полуэскадрон черных гусар с четырьмя легкими пулеметами. Автомобиль. Второе. Сейчас же в западном направлении от Сергиополя — разведывательное подразделение. Доложить о дорогах и заставах к пятнадцати ноль-ноль.

Два ворона, два атамана слетелись в степи. Тронув усы, троекратно облобызались, крест-накрест, по-русски, радостно и счастливо. Дутов поморщился на длинный подвитый чуб Анненкова, выпавший из-под папахи.

— Не слишком ли длинно? — спросил он усмешливо, по-приятельски. — Я приказал обрить все чубы. Вся армию. Тиф, милейший. Не успеваем закапывать.

Постояли у крытого брезентом фургона, пересели в автомобиль.

— Рад, очень рад! — зябко поеживаясь, заговорил Дутов. — Такое впечатление, что попал в старую надежную казачью заставу, где горячий хлеб и горячее мясо, которое дневальный делит по числу носов... Но к делу. Осведомите о положении в Семиречье, любезный друг. Кто наказной атаман?

— Ионов. Правда, сейчас он в Омске.

— Ага. Наказной атаман бежал. И, значит, теперь булава наказного ваша? И вы же старший в здешних местах военачальник. Ну, а чья макушка в гражданском управлении? Тоже ваша? Не много ли?

— Тороплюсь объяснить, — сказал Анненков, поворачиваясь к Дутову вполоборота и усиленно улыбаясь. — Сейчас мы вдвоем. Шофер не в счет. Он глух. Я знаю о вашем намерении подмять меня и возглавить все дело и прошу — оставьте его до того, как перейдем границу.

— Стать во главе — мой долг. Это право старшего.

— Сделайте это в Китае.

— Что вы предлагаете?

— Подчиниться мне. Ваша армия — миф. Вы сами заметили, не успеваете закапывать.

— Таким образом, походный атаман всяя Руси, подобно полоротому денщику, вступает в подчинение... — Дутов вздрагивает от негодования.

— Я пекусь о вашем достоинстве не меньше, чем вы сами, господин генерал. — Анненков сдержан, сух и официален. — Я предлагаю совсем необидное. Мы

принимаем вас со всеми почестями. Имя ваше велико. Но уже через день, два армия ваша переформировывается в корпус вашего имени. Во главе корпуса встает Бакич, Шеметов, Смольнин-Терванд — кто угодно. Корпус вступает в мое подчинение. Я командую не атаманом всея Руси, не вами, а вашим подчиненным — Бакичем или Шеметовым. Вы же получаете пост генерал-губернатора Семиречья, становитесь главным лицом в крае. Я — ваш охранитель. Слуга и воин.

— Семиречье на девять десятых захвачено большевиками.

— Военное счастье переменчиво, генерал.

На допросе у начальника отделения по бандитизму и шпионажу особого отдела Восточно-Сибирского военного округа Хвалевнова Бакич показывал:

«Уже в период отхода Дутов имел намерение обосноваться в Семиречьи и оздоровить свою армию за счет отрядов Анненкова, о чем он уже стал сноситься с последним, но по приходе в Сергиополь выяснилось, что Анненков не только не подчинится Дутову, но и не желает помочь материально, ни продовольствием, ни фуражом».

23 января 1920 года Анненков подписывает приказ № 23:

«Атаман Дутов выразил желание записаться в списки лейб-атаманского полка (анненковского. — В. Ш.). Искренне рад...» Приказная часть этого документа делает «желание» Дутова фактом: «Начальника Семиреченского края походного атамана всех казахских войск генерал-лейтенанта Дутова зачислить в списки лейб-атаманского моего имени полка (выделено мною. — В. Ш.)».

Дутов становится солдатом Анненкова. Хотя и почетным, разумеется.

Подхорунжий Доброхотов, перебежавший из белой гвардии к Советам, писал в «Воспоминаниях белого», что смысл метаморфозы, происшедшей в верхах двух слившихся потоков, весьма прост: Анненков отобрал у Дутова армию, дав ему взамен царство, которого у Анненкова не было. Верное замечание!

Белую гвардию лихорадил не только тиф. Вверху боролись за власть, внизу — за жизнь. Люди толпами уходили к красным.

Сменив начальника, Бакич заменил и молитву. Зверства, обращенные к своим и к населению Семи рек, — дутовские кошмары, — приобрели новые качества. Убийства *без повода, на всякий случай*. Смерть стала бессмысленной, а потому и безмерно страшной.

На суде Бакич рядился в тогу ревнителя гуманности:

— Я не раз писал Анненкову, предупреждая его, что нельзя так жестоко обращаться с населением.

— Откуда и куда вы писали? — спрашивал обвинитель.

Нечленораздельное бормотание. Писать было неоткуда: до Семи рек Бакич и Анненков лишь слышали друг о друге.

— Я стремился облегчить положение крестьян в Семиречье, — говорил через минуту Бакич.

Но и для этого находились только опровержения.

«Среди трупов были женщины и старики, — писал об анненковской дороге на восток В. Довбня, комиссар красного полка. — По дороге было замечено, где лежит труп подводчика (подводчиками были крестьяне соседних сел), что тут же и труп лошади и разбитая повозка. И это не случайно. Если у подводчика ломалось колесо или заболела лошадь, то тут же, на месте, убивали и хозяина, и лошадь, и ломали телегу. Это была мера предупредить, чтобы крестьяне-подводчики, захваченные насильно в подводы, не ломали бы умышленно повозок и не калечили бы лошадей, чтобы таким путем отказаться от поездки».

ЗАПАХ РОССИИ

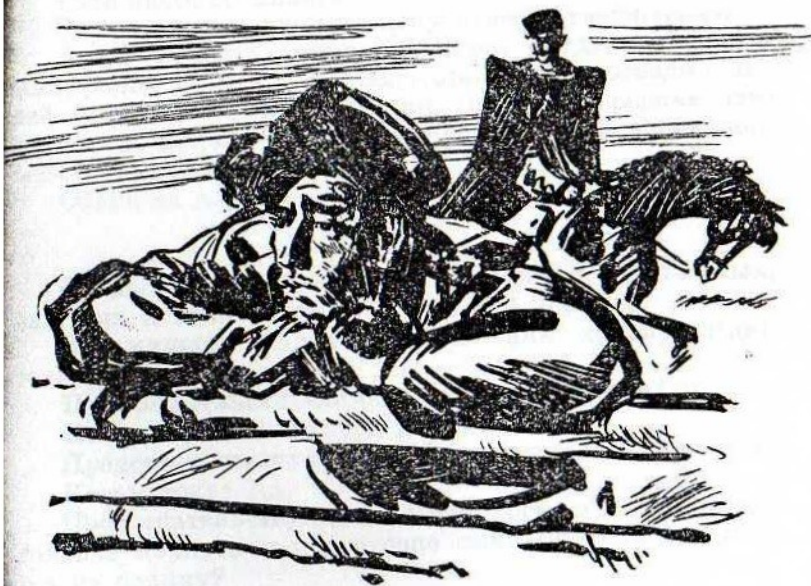
Говорят, тоска по родине не ранит ничье сердце так больно, как русское.

Я этому верю.

Мальчишка, которому восемнадцать и который взят Бакичем «во казаки» перед самым Китаем, едва ли не на последней русской версте вышел из штаба конноегерского полка и, перейдя двор, остановился у калитки.

Потянулся к кустику полыни и, размяв в пальцах пахучую дробинку цветка, понюхал пальцы. Лицо удивленное и растерянное.

— Что призадумался, козаче?



Голос со спины, знакомый в корпусе каждому. Бакич. Проехал через калитку на величественном гарцующем текинце. Сдержал скакуна. Улыбнулся подстегивающей улыбкой.

— Ну!

— Да вот... господин генерал...

— Что это вот?

— Россией пахнет...— Мальчишка поглядел на пальцы и завел руки за спину.— Полынь пахнет, как у нас в России, господин генерал.

— Сравнение неплохое. Значит, хочешь в Россию? Туда? — Бакич махнул плетью в сторону границы.— А в штабе по какой надобности? Уж не вынюхиваешь ли, каким это манером пытались вчера задать деру три казака из егерского?.. Лови! — Кинув поводья казачонку, Бакич махнул ногой и спрыгнул на землю.— Отведешь коня на конюшню и попросишь у старшего ездогого полсотни плетюганов из моих запасов. Валяй!

В тот вечер казаки конно-егерского ловили мальчишку, ускокавшего к границе на генеральском текинце.

Вернулись с пустыми руками. Пятьдесят плетьюганов, отпущенных беглецу из запасов «главковерха», получил дежурный по штабу полка.

Из обвинительного заключения:

«Перешедшие границу Китая остатки Оренбургского корпуса были потрепаны, деморализованы и в первое время ни к каким активным действиям против Советской власти не были способны. Учитывая небоеспособность корпуса, генерал Бакич ставил задачей сохранить корпус как военно-боевую организацию до того момента, когда события в Советской России потребуют активных действий корпуса» (том 1, стр. 36; том 18, стр. 7 и 9).

В бумагах следствия, в россыпи архивных папок, в периодике выискиваю то, что сказало бы о настроениях бакичинцев и, прежде всего, той их части, которую штабы пополнения загоняли в отряд страхом и шомполами, для кого чужое небо было небом без солнца.

«Все хотят домой, а я хочу больше всех».

«Я весь русский, куда же мне?»

«Все в прошлом, все в прошлом».

Весь, вся, все.

Удивительно это негромкое будничное слово — весь, вся, все. «Все в прошлом», — вот оно, угрюмое, чужое небо, небо без солнца.

Бакич хвалился.

— Все люди со мной!

То же слово, но, поставленное заведомо фальшиво, подло и пошло, оно казнило с беспощадностью стихии. Передавая и повторяя этот перл тупого самодовольства, многие из тех, кто был насильно загнан под обруч корпуса, высмеивали своего «главковерха», копили к нему чувства испепеляющей ненависти.

В штабе Бакича любили парады, мишуру, блеск, военную музыку. Как во времена Павла I, видевшего в солдате простой механизм, артикулом предусмотренный, бакичинцы то и дело выходили на расчерченный квадратами парадный плац, являя собою этот простой механизм. Даже беженцы, люди глубоко штатские, старики и дети, сведенные в батальоны и роты, вздымали ноги в гусином шаге, отзываясь бесчувственным, лишенным воодушевления криком на генеральские приветствия.

«Все люди со мной!»

Бакич знал истинную цену этому утверждению.

Люди бежали. Чахли иллюзии, скудели полки и эскадроны. Каждый последующий парад выводил людей меньше, чем предыдущий. Оголялась рыжая земля плаца. Больше и больше пустовало расчерченных мелом квадратов.

Обруч на корпусе сидел непрочно.

Председательствующий: Подсудимый Козьминых, ваш чин и ваша должность в штабе корпуса?

Козьминых: Капитан. Начальник контрразведки генерала Бакича.

Председательствующий: С какого времени?

Козьминых: С октября девятнадцатого.

Председательствующий: Со времен колчаковских?

Козьминых: Да.

Председательствующий: Случалось ли вам доносить головке корпуса о подготовке личным составом побегов на родину?

Козьминых: Касса корпуса была пуста.

Председательствующий: Как понимать это?

Козьминых: Я был лишен возможности поощрять негласные донесения.

Председательствующий: Доносчиков, хотите сказать? Тогда что же вы делали?

Козьминых: Торговал на базаре.

Председательствующий: В целях общения с наблюдаемыми?

Козьминых: Никак нет. Торговали многие офицеры корпуса. Это был способ прокормиться.

Ну что вы, господин Козьминых, имейте совесть!

Трудно удержать себя от соблазна дополнить суд, закрывший свое заседание полвека назад, документом, который почему-то не оказался тогда под руками. Может, оттого, что не был подшит ниткой в один из двадцати томов, а забился в пухлый пакет с разной всячиной — с бумажками, читаемыми и нечитаемыми.

Это — секретный меморандум. Под ним подпись господина Козьминых, который, как мы слышали, только и делал в контрразведке, что покупал и продавал

ситцы, табак, китайские спички. Помечен меморандум 12 апреля 1921 года и, таким образом, родился на реке Эмиль. Представлялся на имя корпусного начальства. Заметим кстати, что в судебном деле это единственный документ контрразведки, успевшей, надо думать, предать огню все остальное, — несомненно, обширное, — делопроизводство. Козьминых службу знал. Здесь же он доносил:

«В Чугучаке проживает Карамышев и его агент Мусин, бывший подпрапорщик 3 эскадрона конно-егерского полка. У них работает вахмистр конно-егерского полка Габясов, который вербует башкир для перехода в Россию... за башкирами полка установлено постоянное наблюдение». И еще: «За последнее время по частям корпуса циркулирует масса всевозможных слухов... «Наступит весна, потеплеет, и тогда пойдем домой, какая бы ни была власть», — такие разговоры можно слышать во всех полках 2-й казачьей дивизии. То же самое и среди казаков-стариков 2 отдела ОКВ».

И наконец: «Агентом контрразведки 2-го Сызранского полка доставлено воззвание красных, которое было разбросано и расклеено по Чугучаку».

Воззвание красных воспроизводилось в меморандуме полностью:

«Братья казаки, башкиры и офицеры!

Военный совет Туркестанского фронта нас уполномочил объявить вам о полной амнистии для всех, переходящих к нам».

Круглов и Михайлов, подписавшие обращение от имени Семиреченской группы войск, разъясняли далее, что афишируемые штабом Бакича победы белого оружия — миф, изобретение его канцелярии. В заключение шли слова:

«Никаких побед никто и никогда над могучей Красной Армией не одерживал и не одержит... Время войны прошло... Мы вас зовем, дорогие братья, не для войны и кровопролития, а для мирного совместного труда».

Не только терпким запахом полыни звала бакичинец земля отцов, лежавшая тут же, рядом, в каких-то четырнадцати километрах от городской черты Чугучака.

«...Стали появляться из-за русской границы люди, говорившие на русском языке и, по-видимому, по национальности также русские, но с каким-то особенным выражением глаз и лица, — вспоминал Боровский в публикации, к которой мы уже обращались. — Пришедшие из-за границы люди имели своеобразный отпечаток, покоящийся, вероятно, на внутреннем содержании и резко отличавший их от «аборигенов»... Из-за границы с новыми людьми

ми на нас взглянула и новая, непонятная нам Россия. Несмотря на то, что люди были, видимо, безоружны, в простых рубашках с расстегнутыми воротами, я понял, что они «пришли за нами»²⁸.

Как же отнестись к этому? Вернуться домой? Остаться?

«На мосту через речку Бахтинку, делящую страны, — читаем у Боровского, — иногда, в светлые солнечные дни, можно было видеть две-три фигурки в рваных одеждах, которые, становясь лицом к России, делали руками странные жесты и, после троекратного их повторения, решительно шли в сторону России или с безнадежным видом поворачивали к китайскому городку. Они гадали на пальцах — идти, не идти, идти, не идти, идти...»²⁹.

Все хотели домой — это была истина. Но перед каждым отсюда лежала своя дорога, так как и сюда она была у каждого своей. Иные бежали в Китай потому, что бежали другие — это был бег в темноту. И тот, кто ничем не запятнал потом ни своего имени, ни своих рук, грезил только одним — возвращением. Тысячи мальчишек, нацепивших из-под палки погоны и лампасы, видели в своем воображении отчий дом, пашню, слышали тележный скрип, паровозные гудки. Для многих Китай был горестным пробуждением от тифозного бреда: их куда-то везли, как везли скарб, сено, пушки, зарядные ящики, мешки с сахаром, тюки с серебром. Каждый пятый был в тифу и преодолевал границу на гремевших по камням санитарных, интендантских и обывательских повозках. Это из них потом кто-то выходил на узенькую Бахтинку, делившую две страны, долго стоял лицом к России и решительно сбегал с мостика на землю отцов. Но толщей корпуса, его каменной кладкой были те, кто вместе с атаманом Дутовым дважды свергали власть Советов в Оренбурге, кого вынес сюда красный ветер возмездия — махровая контра, враги новой России, давние и цепкие, враги до гроба. Они хотели туда же, только дорога у них была другая — огнем и мечом. Сначала по Черному Иртышу до Зайсана и дальше на Семипалатинск...

Бакич, этот человек-топор, и не помышлявший о гибкой политике, видевший в колоннах корпуса не пеструю смесь судеб, убеждений и характеров, а одно лицо, покорно-подобострастное, деревянное лицо подчиненного, рубил направо и налево.

Задача сохранить корпус, как военно-боевую организацию, — это мы прочли в обвинительном заключе-

нии — означала для него пикеты и заставы, стрельбу и погоню.

Обратимся еще раз к свидетельствам Боровского:

«...Никакого другого суда, как полевого, в отряде не было, и всякое выступление против Бакича расценивалось как бунт против верховной власти. Близость к границе в первые месяцы была величайшим соблазном для многих, которые сначала одиночками, потом группами стали исчезать из отряда. Слух о них угасал с их исчезновением... Распаленный исчезновением некоторых офицеров и солдат, Бакич в одной из своих многочисленных речей, ломая русский язык (он по происхождению серб), сказал:

— Ви мне не нужны, ви можете от меня отойти хоть к черту.

Слова его многими могли быть истолкованы как иносказательное разрешение уйти на родину... В ту же ночь партия человек в сорок солдат и офицеров направилась по дороге к Чугучаку с целью перейти границу, но на первом же пикете была задержана китайскими солдатами и посланными вдогонку казаками и на рассвете возвращена в лагерь. И здесь, оскорбленный сочувствием этих лиц большевикам, Бакич учинил расправу: каждого пятого из рядов хватали, срывали с него одежду и били шомполами, причем сам обезумевший генерал, с искаженным от злобы лицом, пинал поверженных на землю в лицо генеральским сапогом»³⁰.

Председательствующий: Суд приступает к исследованию обвинений, содержащихся в собственноручных показаниях свидетеля Нигова. (Бакичу). Подсудимый Бакич, как вы уже были осведомлены, пригласить свидетеля Нигова в настоящее судебное заседание не представилось возможным. Чтобы ориентировать вас в характере исследуемого документа, предъявлявшегося вам следователем по особо важным делам, напоминаю первые его строки: «Я, бывший полковник Нигов Валериан, обвиняю генерала Бакича и генерал-майора Смольнина в том, что, будучи поставлены жизнью и обстоятельствами во главе четырнадцати тысяч, перешедших русско-китайскую границу...» Помните эти показания?

Бакич: Ложь на первом слове... Хм... В протокол интернирования власти Чугучака внесли... да, да, внесли шестнадцать тысяч, а не четырнадцать...

Председательствующий: Допустим. Но обратимся к сути обвинения. Нигов обвиняет вас в том, что вы не только не способствовали возвращению людей на родину, но и препятствовали этому возвращению, используя для поимки и наказания бежавших конвойный дивизион личной охраны и спецсводный соединений.

Бакич: Ложь.

Председательствующий: В одном случае, как утверждает свидетель, по следу бежавших вами был отправлен спецвзвод «народной дивизии» полковника Токарева.

Бакич: Не помню такого случая.

Председательствующий: Бежало человек тринадцать.

Бакич: Такой группы не помню.

Председательствующий: Бежавшие шли берегом Черного Иртыша в направлении Зайсана.

Бакич: Берегом Черного Иртыша? Тринадцать? Не помню.

Председательствующий: Среди них были две женщины. Повторяю, две женщины. Одна с ребенком.

Бакич: Две женщины? Не помню.

Председательствующий: Вся группа была порублена шашками.

Бакич: Такого быть не могло.

Обвинитель поглядывал на Бакича ожидающе и насмешливо.

Что-то пометил в блокноте. Отодвинул его на край столика, а когда председательствующий спросил, имеет ли он вопросы к подсудимому, добродушно развел и показал пустые ладони. И в самом деле: шарманка и без того погудела достаточно.

Потом был перерыв.

Новые вопросы.

И, наконец, новая фигура за парапетом подсудимых.

Смольнин-Терванд.

Обвинитель: А теперь последнее: можете ли вы, бывший начштакор, удостоверить расправу, о которой свидетельствует полковник Нигов? Была ли она?

Смольнин-Терванд: По-видимому, да.

Обвинитель: По-видимому?

Смольнин-Терванд: Я говорю, да. Я слышал о ней, но подробности, к сожалению, не знаю.

Обвинитель (председательствующему): Один вопрос Токареву.

Председательствующий (Токареву): Потрудитесь подняться, подсудимый.

Обвинитель (Токареву): После того, как был убит полковник Гноевых, вы, судя по данным следствия, непрерывно командовали так называемой «народной дивизией». Верно ли это?

Токарев: Да.

Обвинитель: В таком случае, тот же вопрос: подтверждаете ли факт расправы над тринадцатью перебежчиками?

Токарев: Подтверждаю.

Обвинитель: Как это было?

Токарев: Летучий отряд для поимки этих тринадцати снаряжал и посылал я. Делалось это по приказанию Бакича. Остальное, — как сказано у полковника Нигова.

Три цифры: 16, 6 и 10. Привел Бакич на Эмиль 16 тысяч штыков и сабель. Но громада истаяла, и к началу «похода» их было уже только 6. 10 тысяч стали вновь россиянами — гражданами красной России.

Люди уходили домой, сбиваясь в большие и малые скопы, но первым преодолел границу в одиночку — мальчишка-казак на парадном текинце его превосходительства генерала Бакича.

Тут к месту, пожалуй, добавить и два слова о дежурном по штабу конно-егерского полка. Порция плетей была отпущена ему не за промашку в поимке беглеца. Он попался на мякине — под штабной чернильницей в его дежурство кто-то заметил бумажку со словами, которые звучали призывно и дерзко: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись». За это и был бит.

ДУТОВ

Господин Бакич, случалось, облачался во фрак, в пиджачную пару, носил цилиндр, шляпу, галстук, по преимуществу белый, плафрок, гамаши, визитные перчатки из черного шемаханского шелка. Господин же Дутов всегда был в мундире. Всегда в мундире и всегда на военной службе. Никаких хобби их превосходительство не признавал.

Чуточку грамотней Бакича, чуточку искусней в военном деле, хитрее, деятельней, он первое время за границей имел среди эмигрантов некий вес — считалось, что эта карта еще не бита.

«Имя ваше велико», — льстил ему когда-то Анненков. Теперь Анненков забыл и эту лесть, и то, что имя Дутова велико. Генерал же Бакич не дерзил, не выпрыгался. Он делал вид, что помнит, под чьей командой ходило его теперешнее войско, хотя и не пресмыкался и даже не докладывал бывшему начальнику о переменах в корпусе.

Время шло.

Чин Семиреченского генерал-губернатора, дарованный Дутову Анненковым, был, как мы знаем, плодом не слишком тонкой аферы, но Дутов сжился с этим чином, ставил его на бумажках, а главное, спал и видел себя владыкой Семи рек. В Западном Китае в те дни таких владык было четыре. Все они когда-то подминали под себя округу Семи рек: Дутов и Анненков — этих мы знаем — и еще Ионов и Щербаков. Но если Анненков был поглощен перманентными драчками с местными властями, Ионов поминутно строчил пышные сдобные приказы с одинаковым зачином — «Дорогие семиреченцы!», Щербаков днем и ночью ковылял от кабака к кабаку, то атаман Дутов точил свой кинжал, засылал за Бахтинку лазутчиков, сносился с Семеновым, Унгерном и даже Врангелем.

Из обвинительного заключения:

«Материалами по делу генерала Бакича и его штаба установлено, что Семиречье и территория Китая в течение всего 1920 — 21 гг. являются базой сосредоточения всех остатков белогвардейщины и организации их с помощью Японии для вооруженного нападения на Советскую Россию. Начальник штаба генерала Бакича генерал Смольнин показывает: «Осенью 1920 г. в Чугучак прибыли японские офицеры Нагамини и Сато. Я и генерал Бакич вели с ними переговоры о возможной поддержке Японией Отдельного Оренбургского корпуса. В последних числах декабря 1920 года в Чугучак прибыл японский майор Цуга. Я и генерал Бакич вели с ним переговоры. Из разговора с японским майором Цуга у меня создалось впечатление, что он прибыл с миссией объединить отряды атамана Дутова, генерала Бакича и атамана Анненкова в один отряд с общим командованием» (т. 2, стр. 2).

Уже в декабре 1920 г. атаман Дутов организует отряды для борьбы с Советской властью и сообщает единомышленникам:

«...Мною ведется большая работа по всему Семиречью до Ташкента. Имейте связь со мной, чтобы там поддержать восстание вовремя. Я имею связь с Харбином и генералом Врангелем».

Идея майора Цуги соединить в одной упряжке щуку, рака и лебедя была не нова и почиталась за несбыточную еще со времен Крылова. Чтобы слить сейчас три отряда в один и получить таким образом из трех битых военачальников одного небитого, надо было попятить историю — вернуть Дутова, Анненкова и Бакича в январь двадцатого и в край Семи рек и еще раз попытаться воскресить то, что именно там и тогда развалилось, не возникнув, — мнимое единство трех. Подобное воскрешение относится теперь уже к области мистики. В марте 1920 года Ленин сформулировал одну безусловную закономерность, начисто отменявшую пустые хлопоты японского генштабиста.

«Мы одержали победу потому, — говорил Владимир Ильич в речи перед трудовыми казаками, — что мы были и могли быть едиными, потому, что мы могли присоединять союзников из лагеря наших врагов. А наши враги, бесконечно более могущественные, потерпели поражение потому, что между ними не было, не могло быть и не будет единства, и каждый месяц борьбы с нами для них означал распад внутри их лагеря»³¹.

Это как раз и происходило тогда в Западном Китае. Время бежало, дороги расходились.

Вверху шла борьба, внизу, как отмечалось, таянье военной силы. Даже те, кого Анненков считал опорой, казаки из лейб-атаманского его имени полка, из подразделений голубых улан, «гусар смерти», из полка «Маруся отравилась», либо уходили домой, либо становились наймитами китайских милитаристов, чтобы в последующем драться друг с другом, один на стороне мукденской клики и ее предводителя Чжан Цзо-линя, другой на стороне чжилийской клики и ее «вождя» У Пей-фу. Стремясь сохранить арсенал оружия — довольно значительный — и пренебрегая запретом проваться на Дальний Восток, к Семенову, Анненков кончил плохо — попал в китайскую тюрьму. Из тюрьмы он поспешил предложить японцам то, что они уже имели: его согласие на беспредельные и безоговорочные услуги. В прошении на имя японского императорского посланника он писал:

«Я кадровый офицер бывшего императорского российского правительства и участник войны с Германией. Восемь раз был

ранен и имею все русские офицерские награды, а также французский крест Почетного легиона и английскую медаль королевы Виктории за храбрость... Оставшись верным заветам своей борьбы с большевизмом, я был интернирован в Синьцзянской провинции... Убедительно прошу вас, представителя великой Японской империи, дружественной по духу моему прошлому императорскому правительству, верноподданным коего я себя считаю до настоящего времени, возбудить ходатайство о моем освобождении из Синьцзянской тюрьмы и пропустить на Дальний Восток. Честью русского офицера, которая мне так дорога, я обязуюсь компенсировать великой Японии свою благодарность за мое освобождение».

Прошение Анненкова не изменило его судьбы. Японии были потребны солдаты, много солдат. Она хотела того, чего тюремный сиделец уже безвозвратно лишился, сам же он — капрал без палки — никакой цены не имел.

Дутов меньше других верил в войско, общее с Анненковым. Он искал новых, не столь «громких» союзников, и глядел главным образом не на Дальний Восток, а через речку Бахтинку, которая, как мы знаем, была ни русская и ни китайская. За нею, за узкой водичкой, лежало изобильное Семиречье, «его» губернаторство. Казаков этого края он считал своими рекрутами, поселян своими холопами, а с бывшими буржуа и националистами Туркестана заводил романы, обменивался письмами, планами, людьми. Романы эти были новыми и старыми.

1 ноября 1917 года кулацко-атаманская верхушка Семиреченского казачьего войска подняла восстание и, поддерживаемая эсерами, меньшевиками, алаш-ордынцами, захватила власть. В Оренбург атаману Дутову последовала по этому поводу победная депеша: войсковое казачье правительство и комитет Алаш-орды — у власти. Два Семиреченских казачьих полка перехвачены на пути из Ирана и спешно брошены в Ташкент для пополнения сил контрреволюции. И — новая телеграмма Дутову. 14 ноября, через две недели после победной депешы из Верного, Дутов сам поднимает мятеж против Советов. Во главе той же кулацко-атаманской верхушки казачества — на этот раз оренбургского — и в союзе с теми же эсерами, меньшевиками да еще и кадетами, создавшими «Комитет спасения родины и революции», он устанавливает в Оренбурге военную диктатуру. Депеша-реляция теперь следует в обратном направлении из Оренбурга в Ташкент и Вер-

ный. Один из приближенных Дутова — лейтенант Попенгут (имя это мы еще не раз повторим в своем рассказе) состоит постоянным представителем оренбургского диктатора при штабе «Туркестанской военной организации», тайно созданной в 1918 году в Ташкенте антисоветским подпольем. Дутов связан с английской шпионской и диверсионной группой, именующей себя «военно-дипломатической миссией», — она в том же Ташкенте, с бухарским эмиром, ведущим лихорадочную подготовку к походу на Советский Туркестан...

Подсудимый Колокольцев (продолжая показания): Отряды своих единомышленников Дутов формировал в Оренбурге еще в семнадцатом году.

Председательствующий: И уже с того времени вы ходили под его началом? Кстати, что именно осталось у Дутова из армии, отобранной у него Анненковым? Впрочем, садитесь. Подсудимый Бакич! Полагаю, вы более компетентны в вопросе, мною поставленном.

Бакич: Тысяча сабель. Дутов сохранил для себя тысячу сабель. Может, немного больше.

Председательствующий: И это называлось?

Бакич: Отрядом его имени.

Председательствующий: Что вы получили для довольствия своих людей от российского консула в Пекине сразу после интернирования?

Бакич: Шестнадцать тысяч шанхайских лан, восемь тысяч пудов пшеницы и двести сорок три пуда серебра.

Председательствующий: Как-нибудь делились этими получениями с Дутовым?

Бакич: Никак. Правда, серебро он как-то просил, но это особая история.

Председательствующий: Смольнин-Терванд! Вам знакома эта особая история?

Смольнин-Терванд: Так точно. Но история эта замешана не только на серебре.

Председательствующий: Читаю извлечение из анонимной листовки, распространявшейся в корпусе: «Господа офицеры, казаки и солдаты! Вас предали всех!.. Да здравствует генерал Шеметов и его начальник штаба!» Тут упоминается один из шарбистов и тоже какое-то серебро.

Смольнин-Терванд: Серебро там другое, но история именно та. Листовка, как я думаю, исходила от партии Дутова. Дутов отрешил Бакича от командования корпусом за неисполнение приказа — это главное — и за отказ выдать на благо России толику богатств корпуса. Бакич заменялся Шеметовым.

Председательствующий: Это верно, Шеметов?

Шеметов: Верно. Раздор Дутова с Бакичем и назначение меня на место Бакича имеют в своем истоке первый поход на Русь. Поход этот был обстоятельно подготовлен в дутовском штабе, но корпус принял его идею без воодушевления.

Первый поход интернированных полчищ на Русь. Конфликт Дутова с Бакичем? Что это?

...Беглый монах Иона значил при штабе атамана Дутова не меньше, чем Гришка Распутин в царствующей семье Романовых. Иона назначал, перемещал, делал полковников генералами, представлял, дарил, обирал, возносил на верхнюю ступеньку лестницы либо спихивал с нее. Нитей управления в его маленьком пухлом кулачке было много, и держал он их цепко.

В приказах беглый Иона назывался главным священником отдельной Оренбургской армии и Семиреченского края. Отдельной Оренбургской армии у Дутова не было, а над Семиреченским краем горела красная звезда. Чин монаха был устремлен в будущее. В Сайдуне считали, что сначала возродится отдельная Оренбургская, собрав воедино отряды Белянинова, Остроухова, собственно дутовский и многочисленное воинство Бакича. Конечно же, шенкеля и повод Бакич все еще чувствует. Потом на очереди встанет Семиреченский край и падет к ногам атамана, как перезревшая груша: Сибирь объята белокулацкими мятежами. Один удар и — в дамках.

Первым выступил в поход Иона.

«Если господь благословит вернуться всем нам на родную землю,— писал он в докладе на «высочайшее имя» атамана Дутова,— то настоящий поход будет последним походом, олицетворяющим решительную борьбу со злом...».

Зазвонили колокола, заочевала по казармам и лагерям «чудотворная» икона божьей матери. Вкрадчивый голос монаха звал к жертвам и подвигу.

В докладе атаману Иона предлагал:

«1. Всем гг. офицерам, казакам и солдатам уяснить идею предстоящего выступления на родину и требовать:

- а) двухдневный пост, общая исповедь перед чудотворной иконой или иной святыней, а в третий день святое причастие;
- б) принятие присяги на верность родине и своему вождю (Дутову. — В. Ш.)...

5. При занятии какого-либо населенного пункта обязательно совершение торжественного богослужения...

8. Все церкви края и молитвенные дома, кои по каким-либо причинам закрыты, вновь открыть. Где нет священника, обязать совершать молитвы лиц, на это достойных.

9. Во всех церквях и молитвенных домах края, где есть духовенство, ежедневно совершается один молебен, на котором духовенство благодарит бога за освобождение и испрашивает помощи вождю Александру (Дутову.— В. Ш.) на избавление Российского государства. Пользуясь стечением молящихся, здесь же уясняет ся народом смысл освобождения родной земли».

Прочтя писания монаха, Дутов почувствовал под собой гордого коня Георгия Победоносца и положил резолюцию:

«Вполне согласен. Сообщить во все части армии и привлечь священников к проведению в жизнь всего здесь изложенного».

...«Поход на Русь» предрешен.

В штабе вычерчиваются карты операции. Город Верный (теперешняя Алма-Ата) взят в синее колечко — именно туда нацелена дутовская стрела. В августе 1920 года — пробный шар.

Отряд есаула Остроухова — всяческие ландскнехты, включая добровольщину от Бакича и почти в полном составе 2-й атаманский полк Анненкова, — форсирует границу и устремляется в направлении Зайсана.

Полистаем теперь документы, чтобы проследить, куда ступал дальше белый конь атамана.

Из показаний Бакича Хвалебнову 24 марта 1922 года:

«В сентябре месяце (1920 года.— В. Ш.) был получен от него (Дутова.— В. Ш.) оперативный приказ о формировании Оренбургской армии со штабом в районе Кульджи (Сайдуне) и о походе на Советскую Россию в районе Семиречья... Мне предлагалось занять должность помощника Дутова и двинуться со своим корпусом через Бахты на Капал к Верному... Приказ был привезен кульджийским купцом, не то сартом, не то китайцем. Совместно было письмо частного характера с просьбой выдать 30 пудов серебра, за которым приедет доверенное лицо... Приказ Дутова сочувствия в корпусе не встретил и после обсуждения был отвергнут...»

Из показаний Смольнина-Терванда Хвалебнову
28 марта 1922 года:

«Впечатление у нас было такое, что Соввласть крепка единением и поддержкой народа. Этим и объясняется наш отказ атаману Дутову о вторжении вооруженном в районе Семиречья и организации там нового фронта против Соввласти».

Акт неповиновения потряс атамана, но события продолжали развиваться с предусмотренной стремительностью. Границу переходит Белянинов. Монах Иона кропает чисто мирские воззвания, которые скрытно переотправляются в советские города, села, станицы, аулы и кишлаки.

Из воззвания Дутова «К народам Туркестана!»:

«Атаман Дутов позван своим родным войском (имеется в виду Оренбургское казачье войско.— В. Ш.), оно готово встретить его, но путь к Оренбургу лежит через Туркестан.

К вам, народам Туркестана, это обращение.

...Приготовьте путь атаману!..

При своем следовании он все силы приложит к тому, чтобы не повторить ошибок своих предшественников: не будет преступных расстрелов, не найдут себе места беззакония, насилия, реквизиции...»

Нелишне повториться, ведь кости его жертв все еще белеют в степи и в ущельях Семи рек.

Из воззвания Дутова «К гражданам!»:

«Я, атаман Дутов, известный вам всем, иду к вам и заявляю: нет реквизиции, нет контрибуции, нет расстрелов, самосудов и насилия! Все свободно: труд, слово, торговля... Крестьяне и казаки! Ваш хлеб и ваш скот—ваши. Я возьму их у вас по доброй вашей воле и за плату».

Но крестьяне и казаки имеют на сей предмет собственное мнение: они нещадно бьют полчища непрошенных пришельцев, гонят их к Джунгару и Бахтинке. Дутов решает поддержать Белянинова Атаманским полком, что входит в состав Оренбургского корпуса, делая это через голову Бакича.

Из письма-распоряжения № 748, подписанного Дутовым в Сайдуне 18 ноября 1920 года и в тот же день отправленного с фельдъегерем полковнику Белянину:

«Есаул Мартемьянов мною командирован к Вам, и он на словах расскажет все, что делается на белом свете. Прилагаю при сем 10000 р. романовскими на нужды Вашего отряда. Готов и впредь помогать Вам, если связь будет тесной. Мною приказано в г. Чугучак, в отряд Бакича, Атаманскому моему имени полку

войти с Вами в связь и получить от Вас проводника, после чего этот полк перейдет границу и поступит в Ваше распоряжение... Фамилия командира этого полка Савин, чин — полковник. По соединению с Вами полка, надо мне послать уведомление. Ваши действия должны быть направлены на Учарал и на села Герасимовка, Глиновка и др... Я имею связь с Харбином, и генералом Врангелем, поклон всем верным воинам».

Есаул Мартемьянов благополучно доскакал до штаба Белянинова, тогда как гонец к Савину неожиданно пропал в нетях, по-видимому, был перехвачен дозорными Бакича, и потому Белянинов, не дождавшись известий из Атаманского полка, стал уже сам тянуть к нему почтовую нитку. Савин отозвался:

«...Никаких приказов и приказаний не получал. Жду от Вас ориентировку и копию приказа № 748 (письмо-распоряжение атамана Дутова, только что воспроизведенное нами.— В. Ш.)».

Меж тем красные молотили отряд Белянинова в четыре цепа...

Из письма Белянинова Савину:

«Если есть еще какие-нибудь отряды, организованные в г. Чугучаке, было бы не лишним предупредить их, чтобы они также выступили в поддержание восстания».

Машина первого «похода на Русь» явно буксовала. Нужны были новые штабы пополнения, новые отряды. И, конечно же, твердая валюта.

Из показаний Шеметова Филимонову 7 марта 1922 года:

«...Приблизительно в декабре 1920 года Дутов прислал к нам своего адъютанта подполковника Попенгута с распоряжением выслать 30 пудов серебра и одновременно приказ атамана Дутова о вторжении в Россию (по-видимому, вторичный, первый был в сентябре.— В. Ш.). Тогда Бакич собрал старших начальников, заслуживших бумаги, присланные Дутовым, и решено было выдать серебра столько, сколько причитается на каждого интернированного (не 30 пудов, а 3.— В. Ш.)... В выполнении же плана наступательных действий решили отказаться...»

Везувий на Сайдуне затрясся в истерическом негодовании и исторг приказ 207, помеченный 17 января 1921 года:

«Вернувшись из служебной командировки в лагерь на реке Эмиль, штаб-офицер для поручений при мне подполковник Попенгут представил мне доклад о состоянии отряда моего имени... Я вывел свои заключения, которые по долгу службы и ответственности перед Родиной и войском считаю нужным объявить в приказе».

Развертывается список обвинений:

«С начала интернации отряда моего имени начальник его генерал Бакич пренебрег основным воинским законом — держать связь со старшим...

Зимняя заготовка баранов обошлась отряду в среднем по 11 р. за голову, между тем любой скотопромышленник из Кульджи перегнал бы баранов в Чугучак за половинную плату...

При отряде существует казначейство, а серебро хранится начальником отряда у себя под кроватью».

Приказ венчают слова:

«Исходя из всего этого... и ради спасения казаков и русских людей, интернированных у Чугучака, принимаю решительные меры...»

Из показаний Бакича Хвалебнову 26 марта 1922 года:

«В январе 1921 года Дутов издал приказ о моем смещении и о назначении Шеметова, дав одновременно совершенно секретную инструкцию полковнику Савину о приведении приказа в исполнение, хотя бы силой. Савин вошел в общение с Шишкиным, командиром повстанческого отряда...»

Бакич арестовывает Савина и Шишкина. Закованные в кандалы, они этапированы в Пекин. Из Сайдуна же тем временем идет спешная и конфиденциальная бумага на имя Шеметова:

«События, развернувшиеся в последние месяцы в Илийском крае, — сообщает в ней полковник Гербов, новый Наполеон в Сайдуне, — и, в частности, в жизни отряда атамана Дутова, имеющие в своем кульминационном пункте злодейское убийство атамана Дутова, заставляют меня спешно обратиться к Вам с настоящим письмом... Сведения о предполагавшемся покушении были в отряде, но... атаман предосторожные меры принять отказался... 24 января к нему пришли два туземца, один из них ранил атамана в живот и руку и смертельно ранил стоявшего рядом вестового, другой туземец смертельно ранил часового; покушение произошло настолько быстро, что бывшие в квартире казаки не успели опомниться, как убийцы скрылись. Утром в 7 часов 25 минут после страшных мучений атаман умер... Я, как старший в чине и должности... во избежание распада, могущего быть от потери объединяющего начала, вступил в командование отрядом».

...Конец первому «походу на Русь», предпринятому камарильей атамана Дутова.

«Красная стена на границе высока и неуступчива», — говорили казаки вместо вывода об этом походе. Но генералы думали по-другому: вычерчивались новые походные карты.

Из обвинительного заключения:

«В июле 1921 года генералом Бакичем была установлена связь с действовавшими против Советской России начальником сводного русско-инородческого «партизанского» отряда есаулом Кайгородовым и начальником азиатской конной дивизии генералом и бароном Унгерном. От барона Унгерна и есаула Кайгородова Бакич получил сведения о предполагавшемся наступлении на Советскую Россию атамана Семенова, барона Унгерна, есаула Кайгородова и других и приказ Унгерна за № 15. Согласно этому приказу, барон Унгерн ведет наступление на Троицко-Савск и район реки Селенги, полковник Казагранди — на Иркутскую губернию, атаман Казанцев — на Минусинский район Красноярской губернии и есаул Кайгородов — на Алтайскую губернию» (том 18, стр. 1, 3, 4 и 5).

...Над увалом, в подсвеченном луной сивом клочковатом небе возник силуэт одинокого всадника. И тут же сначала лошадь с ее мотающейся головой, а потом и всадник, медленно погрузились в черноту увала, позволяя лишь угадывать их движение по осторожному стуку копыт, а над голой кручей возник новый силуэт, и еще один верховой стал погружаться в черную прову.

Появление всадников было замечено внизу, на заставе.

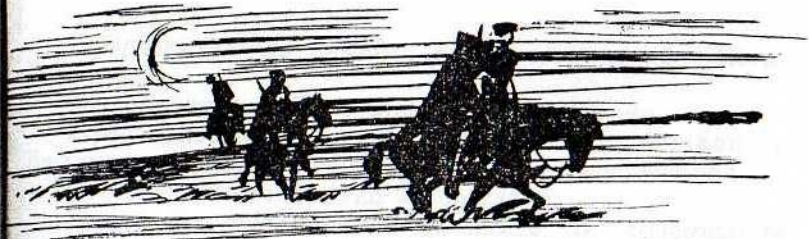
— Перенять и — в штаб, — распорядился кто-то в темноте лишенным интонации негромким голосом.

Проржала лошадь, вздернутая на дыбы.

Подобно бичу, хлопнул выстрел, потом копыта многих лошадей высеяли напряженную мятущуюся дробь, и снова проржала лошадь. Мгновение, и съехавшие с увала всадники — уже в середине полуэскадрона казаков: пригнутые к гривам головы в мохнатых маньчжурских папахах.

В штабной юрте горит красно, слабым меркнувшим огнем «летучая мышь»; пахнет горелым фитилем, седлами, сивухой. Кайгородов сидит боком к складному столику с брезентовой крышкой и, не торопясь, с вкрадчивой недоброй ухмылкой читает открытый лист, отобранный у одного из задержанных. Бумага как бумага, но подпись...

«Настоящим строжайше предписываю всем властям и военачальникам, монгольским, киргизским и русским оказывать предъявителю сего, корнету Шегабетдинову, полное доверие, а по первому его требованию и помощь проводниками, довольствием и



лошадьми, верховыми и вьючными, при следовании его из Урги в Кобдо и обратно.

Начальник азиатской конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн».

— Я знаю подпись барона, — говорит Кайгородов самому себе. — Это не его подпись.

И остро сверкнувшим прищуром — на корнета:

— Чего молчишь?

Поднялся, дышит в самое лицо:

— Потрудитесь предъявить доказательства, молодой человек!

— На обороте — печать, господин...

— Печать, печать... Кто их теперь не делает, эти печати...

Выражая крайнюю степень брезгливости и недоверия, пальцы Кайгородова оборачивают бумагу изнанкой. На изнанке — те же слова: «...строжайше предписываю», только теперь уже по-монгольски, и двуглавые орла молочно-голубой мастикой, заключенное в ободок из двух линий. В ободке — начальник азиатской конной дивизии с его чином и титулом.

— Выйти всем! — подает команду Кайгородов неожиданно высоким, резким голосом и оглядывается на полог юрты. — Значит, вы корнет Шегабетдинов? Ну, а этот... монгол? Проводник, что ли? Ну, ну. Выйти всем, кроме моего гостя!

Последняя согнутая спина на выходе. Полог возвращается на свое место.

— Присаживайтесь, корнет. Моя юрта — ваша юрта. Я жду вас вторые сутки.

Потом они сидят по обе стороны залитой чернилами брезентовой покрывки. Раскурены маленькие глиняные трубочки. Кайгородов разливает по стаканам из мазутно-черного серебряного графина.

— До того, как вручить вам приказ барона Унгерна за номером пятнадцать,— говорит Шегабетдинов,— я должен, следуя инструкции, ознакомить вас с его содержанием путем полного прочтения и тех пояснений, которые окажутся мне доступными. Прибавьте огня, господин есаул...

Странно звучат в нерусском жилище, под чужим, нерусским небом патетические слова приказа о судьбах России.

— Революционные бури с Запада глубоко расшатали государственный механизм... Народ... сохраняя в недрах своей души преданность вере, царям и отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной... Революционная мысль, льстя самолюбию народному, не научила народ созиданию и самостоятельности, но приучила к вымогательству, разгильдяйству и грабежу...

Председательствующий: Продолжайте, подсудимый.

Шегабетдинов: Несколько дней я был гостем Кайгородова.

Председательствующий: Ну, а затем? Вернулись в Ургу?

Шегабетдинов: Не сразу. В штаб Унгерна я возвратился после того, как отвез пакет Кайгородова генералу Бакичу.

Председательствующий: Но кем же вы были?

Шегабетдинов: Личным курьером Унгерна.

Председательствующий: А вот теперь? Перед тем, как поднять руки? При аресте?

Шегабетдинов: Личным ординарцем Бакича.

Председательствующий: Как это произошло?

Шегабетдинов: В штабе азиатской дивизии мне сразу же, за час до убытия к Кайгородову, были предписаны три конца: в Кобдо, к есаулу Кайгородову, это первый, в крепость Шара-Сумэ, к Бакичу, второй и обратно в Ургу — третий. По возвращении я получил новое указание: треугольник, по которому я проследовал, будет меняться, поскольку предстоит поход на Россию. Но, как бы он ни менялся, это моя постоянная дорога, которую я должен знать, как свои пять пальцев.

Председательствующий: Ваша должность, Шегабетдинов?

Шегабетдинов: Я служил барону Унгерну.

Председательствующий: Довольствие получали у Бакича, служили Унгерну. Негласное наблюдение?

Шегабетдинов: Только в номинале.

Председательствующий: Помните ли содержание пакета, доставленного вами Бакичу от Кайгородова? Приказ пятнадцать?

Шегабетдинов: Приказ пятнадцать и письмо Кайгородова с приложениями.

Председательствующий: Что говорилось в приказе Унгерна?

Шегабетдинов: Я затрудняюсь... Впрочем... Хм...

Нет смысла пережидать, пока бывший курьер бывшего барона оставит игру и перейдет от пауз и хмыканья к членораздельному воспроизведению документа. Приказ перед нами.

Буквы молочно-голубые, как и двуглавие орла на открытом листе Шегабетдинова. Такими же, льдистыми и светлыми, были и глаза человека, поставившего под приказом свою подпись. Открывая том на этой страничке, я почти всякий раз вижу в своем воображении дневник белого главковерха Болдырева. Изгнанный Колчаком из Омска, он встречался с Унгерном на маленькой маньчжурской станции и оставил истории вот эту запись:

«12 декабря (1918 года.— В. Ш.)... Просит принять полковник барон Унгерн фон Штернберг. Свидание всего несколько минут, я тороплюсь с отъездом и увожу впечатление синевато-серых, тевтонских глаз, полных упрямого фанатизма и скрытой, в глубине их, холодной жестокости».

Жестокость — вторая натура Унгерна. Надменный от сознания своего «прямого», «чистого», сказать по-другому, «дистиллированного» баронства, он не видел человека в человеке труда и разводил руками, когда слышал, что рабочие и крестьяне решают сами управлять Россией: «Помилуйте, люди, росшие без горничной? Да что они могут понимать во власти!». Упиваясь трепетом повиновения, он сеял страх, прежде всего страх, и потому во всяком управлении видел только то тираническое начало.

Словам, которыми начинался приказ номер 15, Унгерн тщился придать эпическое звучание:

«Я, начальник азиатской конной дивизии, генерал-лейтенант барон Унгерн, сообщаю к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России, следующее:

1. Россия создавалась постепенно из малых отдельных частей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии общностью государственного начала. Пока не коснулись России к ней по ее составу и характеру неприменимые принципы революционной культуры, Россия оставалась могущественной, крепко сложенной империей...»

Унгерн осведомляет:

«Силами моей дивизии совместно с монгольскими (беломонгольскими.— В. Ш.) войсками свергнута в Монголии незаконная власть... и восстановлена власть ее законного державного главы Богдо-хана. Монголия по завершении указанных операций явилась естественным исходным пунктом для начавшегося выступления против Красной Армии в Советской Сибири...»

Выступление против красных в Сибири начато по* следующим направлениям: а) западнее ст. Маньчжурия, б) на Мензенском направлении вдоль Яблонового хребта, в) вдоль реки Селенги, г) на Иркутск, д) вниз по реке Енисею из Урянхайского края, е) вниз по реке Иртышу. Конечными пунктами операций явятся большие города, расположенные на магистрали Сибирской ж. д.»

Унгерн воодушевляет:

«В начале июня в Уссурийском крае выступит атаман Семенов... Сомнений нет в успехе, так как он основан на строго продуманном и широком политическом плане».

Унгерн приказывает:

«По праву, переданному мне (кем же — Семеновым, японским генеральным штабом? — В. Ш.) как военачальнику, не покладавшему оружия в борьбе с красными и ведущему ее на широком фронте, приказываю:

начальникам отрядов, сформированных в Сибири (подчеркиваю, в Сибири.— В. Ш.) для борьбы с Советом Народных Комиссаров.

1. Начальникам малых отрядов, существующих отдельно и готовящихся к борьбе, подчиняться одному командующему сектором, который объединяет действия отдельных отрядов...»

И, наконец, — грозит в пространство:

«Неподчинение повлечет суровую кару.

...Заявить бойцам, что позорно и безумно воевать лишь за освобождение собственных станиц, сел и деревень, не заботясь об освобождении больших районов и областей. Считать такое поведение сохранением преступного перед родиной нейтралитета, каковой является государственной изменой. Такое преступление карать со всей строгостью законов военного времени...»

В борьбе с преступными разрушителями и осквернителями России помнить, что по мере совершенного упадка нравов в Рос-

сии и полного душевного и телесного разврата нельзя руководствоваться прежними законами... мера наказания может быть лишь одна—смертная казнь разных степеней (имеются в виду, надо думать, различные способы смертной казни.— В. Ш.).

Родовитейший барон не очень-то заботится о благородстве слов и устремлений. Его воспаленному воображению открывается далеко не популярная идея «великой, единой и неделимой России» с императором Михаилом на троне (кстати, к той поре уже в бозе почившим). Он страхом гонит в бой рядовых и начальников, страхом грозит красной России. Приказ его неумен, дик, основан не на реальных вещах, а на гипертрофированном чувстве ненависти к рабочим и крестьянам. Но вот скажет ли об этом Бакич в суде? Признается ли, наконец, главный обвиняемый, что он, Бакич,— это и есть Унгерн? Что царь Унгерна — это его царь, а единственная мера Унгерна — его единственная мера?

Бакич: Нет, нет! Приказ номер пятнадцать для меня — это просто бумажка. Не больше. Унгерна своим вождем я не считал и ни в чем перед ним не отчитывался.

Председательствующий: А это? Слушайте Бакич: «Ваше сношение № 806 от 14 июня со всеми приложениями получил. Благодарю за информацию... Приступаю к выполнению приказа № 15». Это ваше письмо!

Бакич: Да. Но это письмо Кайгородову.

Председательствующий: А это? «После некоторого отдыха в Шара-Сумэ предполагаю очистить весь Алтайский округ... и приступить к выполнению задачи согласно приказа Вашего номер 15». Хотите полюбопытствовать? Вот. Читайте. «Его превосходительству генерал-лейтенанту Унгерну». А под бумагой вот эта подпись: «генлейт Бакич».

Бакич: Припоминаю. От связи с Унгерном я действительно не уклонялся. Нет, нет! Но полковник Сокольниковский... он обещал мне посредничество... бежал в Пекин.

Председательствующий: Не огорчайтесь, Бакич. Мы найдем Сокольниковскому подходящую замену. Поручик, поручик... Не помню твердо, не то поручик, не то штабс-капитан. Посмотрим лучше. В этом вот пакете — вы его помните, разумеется. Да вот — «Сергей

Александрович Плахотин». Читаю ваше предписание: «Командирован мною в г. Ургу для сношения по всем упомянутым ниже вопросам с Правительством Монголии и с генерал-лейтенантом Унгерном». Ниже «ген-лейт Бакич» и печать корпуса. Голубая, двуглавый орел. Такое впечатление, будто орел этот слетел с унгерновского документа, скажем, с открытого листа Шегабетдинова, и уселся на ваше предписание. Любопытно, кто у кого заимствовал это изображение?

КРАСНОЕ САЛЬДО

Омский гимназист, омский лавочник, а теперь корнет и гонец барона Унгерна, подобно заводному игрушечному паровозу, колесит в строгих пределах одних и тех же географических точек: Урга, Кобдо, Шара-Сумэ.



На пакетах корнета — он доставляет их в сафьяновой сумке с медными застежками, подвешенной через плечо, как шашка, поверх нательной рубахи — тоже своего рода треугольник, в такой же мере строгий и неизменный, как и география его странствий: Унгерны, Кайгородовы, Бакич. Послания и писания барона он читает, по обыкновению, вассалам вслух, как, впрочем, и послания вассалов друг к другу — такова воля барона. Послания же к самому барону читает сам барон. Только. Не хватало, чтобы и тут кто-то совал свой нос!

Сейчас высокий курьер только что прибыл в Шара-Сумэ, прошел в

штаб-квартиру Бакича, добыл из сафьяна сложенный вчетверо большой лист, устуканный на машинке лиловыми буквами, и, закурив, что-то читает вслух. Бакич справа от него, на кожаном пуфе, нога на ноге, говорят, это его привычная поза, Смольнин-Терванд слева, у окна — он курит у форточки.

«К зиме 1920 г. в разных пунктах обширной Монголии сосредоточились небольшие остатки тех русских сил, которые после безрезультатного освободительного движения 1918—1919 гг. должны были отойти под натиском потерявшего в себя веру русского народа».

Корнет Шегабетдинов читает первые строки письма Кайгородова к Бакичу. 3 апреля 1920 года, по словам Кайгородова, он занял Кобдо, а 27 мая командировал в Ургу, к барону Унгерну, начальника штаба с поручением осведомиться, куда лежат ныне победные дороги барона. Барон прислал письмо и оружие. Кайгородов



писал, где стоят боевые сотоварищи» Унгерна — атаман Казанцев, полковник Казагранди и, конечно же, машина белого движения — атаман Семенов. А вот и наиболее любопытное:

«...Обширные монгольские пространства, зачастую с неприступными горными хребтами, будут для большевиков тем же, чем когда-то была обширная русская равнина для галлов. Население Халхи при наличии нескольких удачных с нашей стороны стычек с красными, несомненно, окажет поддержку, скользя в сторону и являясь отличными проводниками и разведчиками. Уничтожая обесиленного противника, мы на его плечах легко проникнем и в Россию... Там повсеместно ведется широкая пропаганда социалистами-революционерами (выделено мною.—В. Ш.), имеется сеть Крестьянских союзов, копию программы которых прилагаю, а Алтай, эта неприступная крепость, занятый соединенными силами, явится надежным плацдармом, с которого нам откроется путь на магистраль через Бийск и Барнаул».

Вот так! Легко и просто!

К письму Кайгородова подколоты сапожной иглой четыре приложения: приказ Унгерна № 15, секретный шифр для сношений по треугольнику (сложенный вдвое жесткий лист бристольского полукартона с шифрантом и дешифрантом), свежие сведения о противнике и упоминаемая в письме копия политической программы Крестьянского союза. Просматривая все это, Смольнин-Терванд иронически улыбается.

— Проект господина Кайгородова бесподобен, но бумага... Вы аметили, корнет, на чем написано это письмо?

Омский лавочник снял при входе забросанную грязью японскую накидку и теперь являет собой самодовольного монгольского князя во всем великолепии его праздничного наряда: опущенная соболем бархатная шапочка с белейшим султаном, серебряный пояс, кинжал в ножнах червленого серебра, богатый халат, и на плечах — на халате! — золотые погоны корнета. Нет причин к удивлению: погоны на халате носит сам Унгерн (заметим для себя, что и на судебном процессе в «Сосновке» годом раньше Бакича Унгера тоже был в роскошном халате и в массивных погонах, какие надевали генералы царской службы по поводу высокотожественных парадов и церемониалов).

Корнет оглядывает письмо с тем небрежением и снисходительностью, которые должны отвечать манерам сиятельного монгольского князя.

— Бумага как бумага, — заключает он.

— Не совсем.— Губы Смольниина-Терванда выражают язвительное презрение.— Это лист из бухгалтерской книги какой-то фирмы с цифрой красного сальдо. Красное же сальдо, как известно, это крах. Дурное предзнаменование, дорогой корнет.

— Будьте великодушны, генерал,— просит Шегабетдинов.— Человек этот не ходил по паркету.

Шегабетдинов приветлив. Он и сам не очень-то благоволит к мужлану, скрепившему свои бумаги сапожной иглой.

— Итак, это шутка! — объявляет он, поворачиваясь к Бакичу.— Мы все понимаем здесь, и вы, господин Бакич, и вы, господин Терванд, что главное в моей почте не письмо есаула Кайгородова, а приказ пятнадцать. Он приведет нас в Россию. Сейчас же, как полагаю, мне будут приготовлены два ответа — для Урги и для Кобдо.

Ответ Бакича для Урги:

«Его превосходительству генерал-лейтенанту Унгерну.

6 июля нового стиля в Шара-Сумэ прибыл Шегабетдинов, который передал мне записку есаула Кайгородова и Ваш приказ № 15».

Это вначале. А в заключение:

«...предполагаю очистить весь Алтайский округ (имеется в виду Монгольский Алтай.— В. Ш.) от китайцев и приступить к выполнению задачи согласно приказа Вашего № 15».

Ответ Бакича для Кобдо:

«Есаулу Кайгородову.

Ваше сношение № 806 от 1 (14) июля со всеми приложениями получил. Благодарю за информацию о положении дел в Монголии... Приступлю к выполнению приказа № 15 по выполнении некоторых предварительных работ... Главные силы пока группирую по линии реки Бурчум. В дальнейшем главное мое операционное направление вдоль Иртыша... В общем, наша главная база Урга — на правом фланге фронта, почему всем нам, находящимся западнее Урги, надо быть особенно упорными в выполнении поставленных задач».

...Губернатор Шара-Сумэ пустил пулю в висок тотчас же, как только увидел, что город пал, а уже через час в апартаментах покойного воцарился г-н Бакич. С женой и тестем. С серебром и золотом под кроватью, с шлафроками и шляпами в круглых деревянных коробках, с оравой архаровцев, называемых почему-то полуэскадром личного конвоя.

частях шить красные знамена (вместо трехцветных. — В. Ш.), оставив в уголочках небольшие трехцветные... Красные знамена для приманки крестьян, трехцветные как гарантию, что дело идет к восстановлению монархии».

Эсеры. В игре, начатой Кайгородовым и Бакичем, это действительно была козырная карта. Даже на допросе у следователя по особо важным делам Бакич говорил о симпатиях к эсерам в настоящем времени:

«В отношении письма Кайгородова от 1 июля за № 806, касающегося его указаний на партию социалистов-революционеров и Крестьянский союз, показываю: партию социалистов-революционеров я не считаю враждебной нам партией, с которой необходимо вести борьбу. Считаю возможной контактную работу с партией социалистов-революционеров... (выделено мною. — В. Ш.)»

Обвинитель видел два импульса, которые жизнь сообщила Бакичу, чтобы вытолкнуть его из Шара-Сумэ и побудить к пресловутому «походу на Русь»: диктат Японии, непосредственный, а позднее и через барона Унгерна, и зов Крестьянских союзов.

Но ведь то и другое проявляло себя и в пору дутовского нажима. К примеру, разветвленная сеть местных органов Сибирского Крестьянского союза, кулацко-офицерское подполье, организации, банды и группы и, как следствие, мятежи сибирской Вандеи — все это было уже в двадцатом. И обо всем этом знал Бакич. Так почему же не пошел он тогда с Дутовым и пошел теперь с Унгерном и Кайгородовым?

Из обвинительного заключения:

«В мае 1921 года на реку Эмиль прибыла из Советской России так называемая «народная дивизия» под командой есаула Гноевых и полковника Токарева и вошла в подчинение генералу Бакичу. Дивизия состояла из повстанцев Ишимского и Петропавловского районов»³².

Белокулацкая дивизия ишимцев вступила в приграничный лагерный городок с длинейшим верблюжьим транспортом. Вместе со своими горбами торжественные верблюды несли над толпами бакичинцев горные орудия, увязанные бикфордовым шнуром, пакеты винтовок, бердан, шашек, барахло, добытое кровью. Разоруженный при интернировании и практически беззащитный отряд Бакича — оружия осталось всего лишь ничтожная толика — получил теперь щедрый боевой арсенал и пополнился людьми. Оружие повстанцев хранило еще следы боев и тупого безоглядного разбоя.

И это пьянило, кружило головы авантюристам и головорезам. На пути сюда многотысячная колонна была остановлена примерно в марше от Эмиля.

— Мы рады соединиться с вами, дорогие братья из дорогой России, — кричал с коня высоким горловым голосом Смольнин-Терванд. — Но условия наши непреклонны: вы армия свидетелей. Переход границы — это не ваше бегство от преследующего врага, а свободно принятая на себя миссия позвать нас, бакичинцев, и прежде всего генерала Бакича, на родину. С вашим приходом — зарубите себе это раз и навсегда — генерал Бакич позван повсеместно восставшими крестьянами и казаками вернуться в Россию, к его правам и почестям, вернуться и занять место, уготованное ему историей. Присягая этой своей новой и, как каждый видит, священной миссии, поднимите над головой свое боевое оружие.

Обвинитель: Подсудимый Бакич! Выслушайте внимательно секретный циркулярный приказ, изданный вами перед выступлением: «Повстанцы Омской, Тобольской и Челябинской губерний послали за нами Первую сибирскую народную дивизию, вместе со своим пахарем, начальником Токаревым во главе. Прибывшие в последнее время два партизанских отряда из Самарской, Оренбургской и Тургайской губерний зовут также для установления новых порядков»... Что здесь правда и что неправда?

Бакич: Партизанских отрядов из Самары, Оренбурга и этого третьего... не было.

Обвинитель: Ну, а повстанцы из Ишима? Они действительно кем-то были присланы? Нет, как я понимаю? Тогда следующее: кто в корпусе составил так называемую «Программу власти для России»?

Бакич: Кто-то в штабе, гражданин обвинитель.

Обвинитель: Смольнин-Терванд!

Смольнин-Терванд: Программу составил я, и, по составлении, она тотчас же была разослана начальникам частей корпуса.

Обвинитель: Будете ли отрицать, подсудимый, что сочинение ваше представляет собой смесь разных политических концепций: немножко от Унгерна, что-то от эсеров...

частях спить красные знамена (вместо трехцветных. — В. Ш.), оставив в уголочках небольшие трехцветные... Красные знамена для приманки крестьян, трехцветные как гарантию, что дело идет к восстановлению монархии».

Эсеры. В игре, начатой Кайгородовым и Бакичем, это действительно была козырная карта. Даже на допросе у следователя по особо важным делам Бакич говорил о симпатиях к эсерам в настоящем времени:

«В отношении письма Кайгородова от 1 июля за № 806, касающегося его указаний на партию социалистов-революционеров и Крестьянский союз, показываю: партию социалистов-революционеров я не считаю враждебной нам партией, с которой необходимо вести борьбу. Считаю возможной контактную работу с партией социалистов-революционеров... (выделено мною. — В. Ш.)»

Обвинитель видел два импульса, которые жизнь сообщила Бакичу, чтобы вытолкнуть его из Шара-Сумэ и побудить к пресловутому «походу на Русь»: диктат Японии, непосредственный, а позднее и через барона Унгерна, и зов Крестьянских союзов.

Но ведь то и другое проявляло себя и в пору дутовского нажима. К примеру, разветвленная сеть местных органов Сибирского Крестьянского союза, кулацко-офицерское подполье, организации, банды и группы и, как следствие, мятежи сибирской Вандеи — все это было уже в двадцатом. И обо всем этом знал Бакич. Так почему же не пошел он тогда с Дутовым и пошел теперь с Унгерном и Кайгородовым?

Из обвинительного заключения:

«В мае 1921 года на реку Эмиль прибыла из Советской России так называемая «народная дивизия» под командой есаула Гноевых и полковника Токарева и вошла в подчинение генералу Бакичу. Дивизия состояла из повстанцев Ишимского и Петропавловского районов»³².

Белокулацкая дивизия ишимцев вступила в приграничный лагерный городок с длиннейшим верблюжьим транспортом. Вместе со своими горбами торжественные верблюды несли над толпами бакичинцев горные орудия, увязанные бикфордовым шнуром, пакеты винтовок, бердан, пашек, барахло, добытое кровью. Разоруженный при интернировании и практически беззащитный отряд Бакича — оружия осталось всего лишь ничтожная толика — получил теперь щедрый боевой арсенал и пополнился людьми. Оружие повстанцев хранило еще следы боев и тупого безоглядного разбоя.

И это пьянило, кружило головы авантюристам и головорезам. На пути сюда многотысячная колонна была остановлена примерно в марше от Эмиля.

— Мы рады соединиться с вами, дорогие братья из дорогой России, — кричал с коня высоким горловым голосом Смольнин-Терванд. — Но условия наши непреклонны: вы армия свидетелей. Переход границы — это не ваше бегство от преследующего врага, а свободно принятая на себя миссия позвать нас, бакичинцев, и прежде всего генерала Бакича, на родину. С вашим приходом — зарубите себе это раз и навсегда — генерал Бакич позван повсеместно восставшими крестьянами и казаками вернуться в Россию, к его правам и почестям, вернуться и занять место, уготованное ему историей. Присягая этой своей новой и, как каждый видит, священной миссии, поднимите над головой свое боевое оружие.

Обвинитель: Подсудимый Бакич! Выслушайте внимательно секретный циркулярный приказ, изданный вами перед выступлением: «Повстанцы Омской, Тобольской и Челябинской губерний послали за нами Первую сибирскую народную дивизию, вместе со своим пахарем, начальником Токаревым во главе. Прибывшие в последнее время два партизанских отряда из Самарской, Оренбургской и Тургайской губерний зовут также для установления новых порядков»... Что здесь правда и что неправда?

Бакич: Партизанских отрядов из Самары, Оренбурга и этого третьего... не было.

Обвинитель: Ну, а повстанцы из Ишима? Они действительно кем-то были присланы? Нет, как я понимаю? Тогда следующее: кто в корпусе составил так называемую «Программу власти для России»?

Бакич: Кто-то в штабе, гражданин обвинитель.

Обвинитель: Смольнин-Терванд!

Смольнин-Терванд: Программу составил я, и, по составлению, она тотчас же была разослана начальникам частей корпуса.

Обвинитель: Будете ли отрицать, подсудимый, что сочинение ваше представляет собой смесь разных политических концепций: немножко от Унгерна, что-то от эсеров...

Смольнин-Терванд: Не отрицаю.

Обвинитель: Идея? Каждому лакомке пряник по вкусу?

Смольнин-Терванд: Идея — поднять всех.

Обвинитель: Что же окрыляло вас в решении форсировать границу?

Смольнин-Терванд: Семенов, Унгерн, Казагранди, народная дивизия. Цельность общего замысла. Японский вклад в подготовку похода. И последнее по счету, а не по значению — эсеры. Стихия крестьянских мятежей. Вандея, по терминологии обвиняющей власти.

Письмо Кайгородова к Бакичу было датировано 1 (14) июля 1921 года. Помимо прочего, в нем говорилось о том, что за оружием и инструкциями к барону Унгерну посылался начальник штаба Кайгородова, имени которого письмо не называло. Запомним две эти подробности и вернемся в Кобдо, к той минуте, когда сиятельный Шегабетдинов садился на коня с пакетом для Шара-Сумэ. В пути он дважды менял проводников. Но эти его проводники, как и сам он, так и не заметили за собой преследователя, странного преследователя, который держался от них едва ли не на выстрел, умерял шаг, когда это делала кавалькада, и, напротив, набавлял ходу, если кремнистая каменная тропа сменялась типчаковой степью, а унгерновский курьер и проводники наметом уходили в марево.

Пока корнет Шегабетдинов пребывал на аудиенции у генерала Бакича, странный преследователь кормил коня из джутовой торбы, тут же, в ста шагах от помпезного дворца, а потом неторопливо, со вкусом курил у порога китайской лавочки.

Он ждал своего часа...

По заведенному обыкновению, Бакич священно действовал в это время у туалетного столика: брился, красил и подвивал бакенбарды. От дверей слышались осторожные, крадущиеся и, несомненно, чужие шаги. Оглядевшись, опешил: по первому впечатлению — монгол. Мы знаем о пришельце чуть больше: это тот странный преследователь, которого мы оставили у китайской лавочки.

— Кто? Кто такой?

На склоненном в полупоклоне темном лице белейшие зубы без губ и над ними тоненькие, скорей китайские, а не монгольские, усики.

— Бисьмо, — ответил пришелец; кланяясь, он прижимал к груди пакет. — Далмач нада.

И показал язык.

Бакич круче обернулся на своем пуфе. В проеме двери вытянул руки тоненький ординарец из сербов.

— Он без оружия, — доложил ординарец по-сербски. — Говорит, что имеет поручение вручить вам послание от очень важного человека. Просит толмача.

Пришелец еще усерднее гнет спину: да, прошу... Через четверть часа обер-квартирмейстер корпуса полковник Костров переводил послание с монгольского на русский:

— Ваше превосходительство генерал-лейтенант Бакич! Имею смелость рекомендовать для излечения безумцев, ищущих на Востоке лучшие места, следующее. Первое—Урга за красными. Это факт. Второе. Вся Монголия в огне. Если сегодня монгол Кобдоского округа еще боится и не трогает белого, то потому, что он более миролюбив, безоружен и страшится нашей силы и нашего возмездия. Завтра все может коренным образом измениться. Монголы на русской границе к нам враждебны. Одиноких обирают; убивают или передают красным³³.

Костров смущенно поднял глаза на Бакича.

— Продолжайте, — приказал тот.

— «Третье. Дорога на Восток и раньше, при порядке, была неимоверно тяжелой, теперь же, когда большая часть уртонов снята, она немыслима».

— Подпись? — спросил Бакич.

— Подписи нет, господин генерал. Поставлена лишь круглая печать есаула Кайгородова.

— Кайгородова? Каким же числом помечено письмо?

— Первым июля.

— Но ведь первым же июля помечено и другое письмо того же Кайгородова. — Бакич срывающимися пальцами выхватил из портфеля бумагу.

— Я догадываюсь, господин генерал.

Костров помедлил, оглядывая все еще согнутую спину загадочного курьера, и что-то спросил по-монгольски.

— Сокольник, — тщательно выговорил монгол. — Не пишу, сказал, подпись, так нада. Бечать есть, бечать верить нада.

Бакич уже не слушал...

Обвинитель (Бакичу): Таким образом, борьба была острая и для Сокольниковского небезопасная. Главное лицо в отряде, есаул Кайгородов, тянет к вам связь, он каждым своим помыслом за выход в Россию. Начальник же его штаба полковник Сокольниковский против выступления, а следовательно, и против приказа Унгерна номер пятнадцать. И это тот самый полковник, который с абсолютными полномочиями от Кайгородова представлял его перед Унгерном, приобщался к идеям барона из уст барона и доставил в Кобдо транспорт оружия. Как вы и ваш штаб восприняли предостережения Сокольниковского?

Бакич: Поговорили...

Обвинитель: В деле есть русский вариант письма, переводимого Костровым с монгольского...

Бакич: Русское письмо пришло позже. А потом от Сокольниковского было еще одно письмо.

Обвинитель: Не это ли? «Автономия Монголии стала неожиданной. Мы уже почти в состоянии войны с большевиками на территории Монголии и ощущаем уже ее веянья: на нас смотрят враждебно, нам во всем отказывают». Дальше о том, что красные монгольские и красные советские части успешно оперируют близ Улясутая, и, таким образом, по выражению Сокольниковского, между Кайгородовым и генералом Унгерном неожиданно забушевало красное улясутайское море. Унгерн катился к своему концу. Почему это не остановило вас?

Бакич: Трудно сказать. Словом, кони уже были оседланы.

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С ОДНИМ ИМЕНЕМ

Из обвинительного заключения:

«В сентябре 1921 года генерал Бакич повел наступление на Советскую Россию. В боях с экспедиционным корпусом Красной Армии Оренбургский корпус и «народная дивизия» были разбиты, распылены и частью взяты в плен. Сам генерал со штабом бежал в Монголию. Войсками Монгольского правительства генерал Бакич со штабом был взят в плен и передан Советской власти».

Бакича разбили рабочие и крестьяне. Те, кто был для него источником постоянного гнетущего страха: войны России, войны Монголии, войны Тувы. Его штаб, его кочующий корпус поглотило грозное казнящее улясунское красное море, разлившееся до беспредельности. Как это было?

Ответ наш полезно, по-видимому, начать с поправки к извлечению из обвинительного акта: крепость Шара-Сумэ Бакич оставил не в сентябре двадцать первого, а в июле. В конфиденциальной тетради, носимой Смольниным-Тервандом на месте креста на золотой цепочке, сохранилась коротенькая запись чернильным карандашом: «Июль, 14, Бурчум». И тут же: «Август, 29, переход 13 кавдивизии в наступление».

Офицер-оренбуржец, для которого наступление 13 Сибирской кавдивизии 5 армии (1350 сабель, 32 пулемета, 4 орудия) стало концом войны и скитаний с отрядом Бакича, воспроизводит этот час не так лаконично, как начштакор, и совсем другими средствами:

«...Когда хлеб на полях, набирая соки изобильной земли, уже налился, нашу часть перебросили на полевые работы в урочище Кемерчек, и мы стали собирать жатву там, где не сеяли. Люди буквально паслись на полях! Начались ужасные поносы, которые угоняли людей в широкие просторы хлебных полей, и там они в корчах умирали: желудок не принимал крахмала, бессильная кровь не могла его переработать в жизненный эликсир... И эту «жизнь», этот «отдых», это «ненарушимое наслаждение покоем» опрокинули в минуту только три слова: «Под Бурчумом прорыв!» И опять тысячи людей, сцепленные друг с другом, повисли над бездной».

Для многих из корпуса Бурчум действительно стал бездной, из которой они уже больше не поднялись.

Комиссар 13 дивизии Н. Ф. Евсеев называет бурчумский бой главной статьей в разгроме Бакича. На марше из района Семипалатинска 13-я перенесла не меньше испытаний, чем ее противник. На пути от Вороньих гнезд до Бурчума дивизия двигалась по песчаным степям, лишенным жилищ и всякой растительности, по каменным полям — страшные для конницы пространства, на которых галечник сменяется булыжником, булыжник — кремнистыми напластованиями. В степи пушки и зарядные ящики тонули по ступицу в горячем песке. Выбывающихся из сил лошадей вели в поводу. Жажда. Голод. Ели горькую калину и просяные колосья. Испепеляющее солнце днем и ледовая

стужа ночью. Гибли люди, верблюды, лошади... И ни слова ропота.

И почти с ходу, двумя колоннами, в бой за Бурчум³⁴. Начавшийся в 10 утра этот бой достиг наивысшего ожесточения к полудню. Пеших на поле боя нет. С той и с другой стороны только конница. К 16 красные сгибают Бакича, шеститысячное войско дрогнуло, прижато к Черному Иртышу, и, теснимое с обоих берегов, бросается вверх по течению, чтобы выйти из воды на излучке и под покровом за вечеревшего неба уползти обратно в Шара-Сумэ.



Обвинитель (Бакичу): Куда отошел корпус после потери Бурчума и Шара-Сумэ?

Бакич: В район Кобдо, через Монгольский перевал.

Обвинитель: Красные преследовали вас?

Бакич: Без обычной настойчивости: перевал уже заметало снегом.

Обвинитель: Ваша первая операция вместе с Кайгородовым?

Бакич: Осада Байкалова в монгольском монастыре Саруль-гун.

Обвинитель: Было ли вами обнародовано воззвание Байкалова с требованием о капитуляции и с гарантией полной амнистии для каждого сдавшегося?

Бакич: Да. В день получения.

Обвинитель (председательствующему): Могу ли я просить об оглашении протокола допроса Шеметова следователем по особо важным делам?

Председательствующий: Товарищ секретарь...

Шеметов (после оглашения его показаний, на вопрос обвинителя): Да, я подтверждаю то, что показывал следователю. Воззвание Байкалова было объявлено не сразу, да и очень узкому кругу военачальников.

Обвинитель: Подсудимый Бакич!

Бакич: По-видимому, я что-то запамятовал. Да, припоминаю... Местность, где я получил ультиматум, не располагала подножным кормом для лошадей. Пришлось спешно менять дислокацию. Отсюда и задержка...



По-видимому, всякая новость может быть воспринята различно: холодно, нейтрально, с воодушевлением или горечью, как праздник или как бедствие. Все зависит от того, на какую почву падает зернышко, кто вы и какова новость.

Все мальчишки одинаковы: мечты, воздушные замки, кумиры. В детстве я грезил стать «таежным дедом». Испятнанная чернилами холщовая сумка, которую я исправно таскал в церковноприходскую школу, была прибежищем самых различных по достоинству книжек о богатырях и рыцарях, о солдатах, которых не берет ни шашка, ни пуля, о татарских наездниках, о карабинерах Гарибальди... Все это было волшебно и сказочно.

Но самую дорогую сказку многие мальчишки поселка носили не в сумках. Тогдашним их героем был «дед», «таежный дед», а чаще, доверительно и ласково — «дедушка». Он был за нас. Безмерно храбрый.

Безмерно добрый. И, как положено красному, — неуловимый.

Образ его настолько туманил головы, что даже содержатель лавочки, в жилой половине которой играл розовый граммофон и, случалось, бражничала колчаковская офицерня, сделался для ребят вдруг знаменитой, почти мифической личностью: он видел «деда». Мальчишки показывали его друг другу: он видел «деда».

И вот новость. Она пришла позже, когда красные прогнали белых: «дед», оказывается, бывал в нашем поселке, скрывался на островах, с которых мы удили рыбенку, а лавочник вроде и не лавочник — он помогал «деду» прятаться. У новости было продолжение — новое лицо. Новый герой! Помощник «деда»! Имя «деда» — Каландарашвили, имя помощника — Байкалов. Праздничная новость была первой моей встречей с человеком, носившим имя «священного моря». После того, как «дед» погиб за рабочее дело, Байкалов остался за него — таким было общее мальчишечье решение.

Позже, шестнадцатилетним студентом факультета права, я встретился с этим именем во второй раз. Белый дом в Иркутске, куда я ходил на лекции, еще хранил тогда следы боев за Советы — красные щербинки от пуль и шрапнели на западной стене здания. В декабре семнадцатого Белый дом был цитаделью большевистской «Центросибири», осажденной юнкерами и эсерами... Когда на факультетском дворе или в его коридорах появлялись толпы экскурсантов, а голос ведущего принимался перечислять имена доблестных защитников «Центросибири», я всякий раз останавливался, ждал и, только дождавшись, услышав имя Байкалова, шел дальше.

Третья встреча — книга И. Строда «В якутской тайге», книга о героизме красных и тоже об осаде.

В Якутии, на Лисьей поляне, в 28 километрах от Амги — в те годы это слобода — белыми под командой генерала Вишневого взят в кольцо огородившийся ледовыми баррикадами небольшой отряд Строда. У осажденных мало боеприпасов, нет воды и продовольствия. Снег под ногами вытопан, полит кровью, и потому добывать его красноармейцы могут лишь дорогой платой, переползая ночью с мешками через

пристреленные белыми точки. Баррикадами стали убитые при осаде волы и лошади. Баррикадами стали заледеневшие тела павших в бою товарищей — мертвые не оставляют строя, служат делу живых. На выручку Строду идет Байкалов, «комвоорсилами» красной Якутии. Под Амгой он наносит белым жесточайшее поражение. Осада белых разъяла свои клешни. Победа!

А вот и четвертая встреча — многотомное дело Бакича и его штаба. И снова махина белых полчищ, белое кольцо и красный очажок.

Осада.

В «секретах» Смольнина-Терванда — в тех самых, на золотой висюлке — имя Байкалова³⁵ встречается только раз, и вот в какой записи: «Сентябрь, 20, курэ (монастырь. — В. Ш.) Саруль-гун и атака: Байкалов, Циренов³⁶, Дамба, Хас-Батор, Кайгородов».

Здесь, как и во всех остальных записях, Смольнин-Терванд чрезвычайно скуп. Названы лишь голое событие (атака), место его (монастырь монгольского князя Саруль-гуна) и главные действующие лица: Байкалов, начальник 22 отряда особого назначения или, по-другому, Кобдоской опергруппы, Циренов, комиссар того же отряда, монгольские военачальники Дамба и Хас-Батор и, наконец, союзник Бакича, белоказачий офицер.

Перебросим назад несколько страничек календаря.

Вот отряд Байкалова в истоке экспедиции. Сформированный в Иркутске, по преимуществу из рабочих, коммунистов и комсомольцев, он вступил в пределы Монголии, проследовав через Новониколаевск, Бийск и Кош-Агач. У Байкалова только конница: 300 сабель и 20 пулеметов³⁷.

В Монголии тех дней — яростная борьба классов, движение за независимость от Китая и Японии, борьба родов и племен, разжигаемая князьями и ламами. Родившаяся к той поре революционная партия монгольского аратства и ее вождь Сухэ-Батор борются с оккупантами и интервентами. Создается Временное народное правительство. И, как отзвук на эти перемены — дифференциация в княжествах Западной Монголии: часть их примыкает к Байкалову, другая часть — к лагерю белогвардейщины. Пополнившись революционными монголами, отряд Байкалова, преодолевая наскоки Кайгородова и атамана Казанцева,

неумолимо продвигается к Кобдо. Два перехода до осинового гнезда! Но предприимчивый Кайгородов поднимает пламя за спиной наступающих: ему удается вызвать кулацко-эсеровский мятеж на Горном Алтае. Теперь сзади Байкалова — враждебная Вандея, а впереди — три лютых вала: Кайгородов, Казанцев и сползающий с заснеженного перевала генерал Бакич с корпусом, в котором все еще около 5000 штыков и сабель. Как быть?

Ускользнуть в Россию через Уланком? Но тогда мятежники Горного Алтая сомкнутся с Бакичем и его пристяжками. Пятизарядные винчестеры, японские винтовки со штыком-саблей перешагнут границу. Да и как все это отразится на деле Сухэ-Батора — на общем деле России и Монголии?

Не отступать, решает комполитсостав отряда. Забить гвоздь в стане белогвардейщины, сковать ее стойким сопротивлением.

Обвинитель: Подсудимый Бакич, потрудитесь припомнить, не приходилось ли вам подписывать обращения к защитникам Саруль-гуна с требованием сложить оружие?

Бакич: Такого письма не было.

Обвинитель (предъявляя документ): Чья это подпись?

Бакич: «Генлейт Бакич». Моя, разумеется.

Обвинитель: Вы забывчивы до курьеза, подсудимый. Читаю: «Не желая брать тяжелой ответственности перед богом за пролитие братской русской крови, предлагаю вам, красноармейцы, сложить оружие. В наших рядах, возможно, вы найдете своих братьев и отцов; с первой же минуты после сдачи вы поступаете под покровительство тех же законов, какими управляются и мои войска». И в заключение: «Сопротивление с вашей стороны не принесет вам пользы, ибо вы со всех сторон окружены моими войсками, численностью и вооружением превосходящими вас не в один десяток раз». Чем ответили Байкалов и его люди на это ваше письмо?

Бакич: Тут нет ни вопроса, ни ответа, гражданин обвинитель, — оружием. Осажденные предприняли дерзкую вылазку.

Из мемуаров состоявшего в свое время в подчинении у Бакича подхорунжего Доброхотова, названных им «Воспоминаниями белого», которые, хотя и не исследовались судом, но были ему известны — они в 20-м томе, — обвинитель в своей речи использовал из них одну впечатляющую подробность:

«...Вышли к реке Сапсай. Здесь узнали, что недалеко Кайгородов с отрядом. С нетерпением ждал генерал Бакич людей от Кайгородова, и велика была его радость, когда прибыла первая связь. Вот что передает один свидетель. Солдаты Кайгородова прибыли в ставку Бакича ночью. Проснулись Бакич и начальство штаба. Читает он пакет Кайгородова с сообщением о том, что небольшой красный отряд окружен им в горах в одном монгольском монастыре. Радуетса чуть ли не под-детски генерал, потирает руки, не знает, куда посадить и чем накормить дорогих гостей. «Так я и знал, через два-три дня мои солдаты-станичники возьмут красных в монастыре. А может, и драться не придется, вот что я им приготовил». И предлагает читать глупое воззвание, обращенное к красноармейцам. «Что, хорошо написано?». Довольный Бакич рисует перед слушателями воздушные замки похода на Россию. Показывает схему движения на Русский Алтай, забывая даже о том, что это тайна штаба... Чуть занялась заря в день 20 сентября, как со всех сторон, как муравьи, полезли бакичинцы и кайгородовцы к монастырю. Все слилось в непрерывный треск, стрельба пулеметов и винтовок. Такого боя, как говорили после, редко кто видел даже в европейскую войну. Шли лбом. Цепи валились, их заменяли другие. Ворвались в монастырь, начался рукопашный бой, но трудно одолеть людей, сознательно решившихся защищаться до последнего. Отступление. Все поле перед монастырем было покрыто трупами. Около трехсот человек легло в атаке. Эта неудача озадачила начальство. Как же это так? Не могли взять такой маленькой кучки?.. Все обвиняли Бакича... Многие настаивали не давать совсем больше боя, а убраться подобру-поздорову куда-нибудь подальше. Таких командиров Бакич выпроваживал в обоз, заменяя другими. Так уехал начальник 2 Оренбургской казачьей дивизии генерал Степанов. Уезжая, он наказывал: «Станичники, берегите себя, не ходите больше в бой!» Лишнее было так говорить станичникам, они и так призадумались и решили больше не идти на курэ. До Бакича дошли слухи, что в частях начинаются брожения. Тогда он решает вызвать из обоза своих сызранцев. «Славные сызранцы! — говорит он. — На вас надежда! Казаки могут воевать только на конях, а не пешие. Возьмем курэ!» — «Возьмем!» — отвечают те. Пошли его волжане. Сам Бакич повел было их в бой. Быстро были сбиты и они. Пробовали было кликнуть добровольцев на курэ, но таких нашлось только двенадцать. После нескольких неудачных попыток взять курэ... Бакич как-то притих, согнулся... Впал в детство, держал при себе какого-то ворожея, который перед каждым боем ворожил ему на бобах — быть или не быть».

Из речи общественного обвинителя по делу Бакича и его штаба:

«Когда наш товарищ Байкалов с несколькими десятками красноармейцев заперся в одной курэ, перед этой курэ легло триста трупов белогвардейцев. Они вторично вызвали охотников для нападения на Байкалова. Охотников нашлось всего двенадцать человек».

Из показаний Бакича 28 марта 1922 года на допросе у начальника разведперотдела 5 армии Репина:

«...Получив сообщение от генерала Смольнина о том, что к Байкалову идет со стороны Кош-Агача поддержка, наши части отошли на юг».

Из свидетельства Президиума ВЦИКа о награждении К. Байкалова орденом Красного Знамени:

«Тов. Байкалов постоянно находился в рядах красноармейцев, личной храбростью и выдержкой показывал пример стойкости командира, заражал энтузиазмом всех красноармейцев... Несмотря ни на какие трудности, отряд во главе с командиром тов. Байкаловым категорически отверг предложение о сдаче. Благодаря личной храбрости, хладнокровию и стойкости тов. Байкалова, сводный отряд в неимоверно тяжелых условиях, после 44-дневной осады разгромил банду Бакича, которая понесла огромные потери».

РУССКИЙ ДОМ

Обратимся еще раз к монгольской страничке...

Заняв 3 февраля 1921 года Ургу (теперешний Улан-Батор), барон Унгерн уже 15 февраля возвел на ханский престол богдо-гэгэна и продирижовал состав угодного ему «правительства». Однако атмосфера поборов, насильственной мобилизации, беззакония, расстрелов и порки, созданная в стране Унгерном и его марионеткой, не гасят, а, напротив, раздувают революционное пламя. Рука Японии уже бессильна защитить Унгерна от суда истории. 6 июля советские войска и монгольская народная армия вступили в Ургу. Унгерн бежал, был изловлен, судим в Новониколаевске (Новосибирске) и 15 сентября 1921 года расстрелян по приговору Верхтриба.

Между тем сдвинутая его усилиями военная машина все еще громыкала, стреляла и сеяла страх. Подвиг защитников Саруль-гуна приблизил его к пропасти, но еще не столкнул туда. Бакич предпринимает попытку консолидировать полурастерзанное воинство, пополняет отряд группками блуждающих авантюрис-

тов, ходивших, по преимуществу, под знаменем Унгер-на. У него есть еще обоз, есть пушки, боеприпасы, хотя и очень скудные, его верблюды качают еще на своих ребрах тюки с мехами и серебром, машинки отстукивают приказы, воззвания, фальшивые военно-оперативные сводки о «занятии» и «захвате» белыми городов Монголии и России. Но игра сыграна, бездна зовет.

Полковник Сокольников представляет Кайгородову два предостерегающих рапорта за номерами 1148 и 1153:

«...Считаю долгом службы и совести доложить [что планируемый поход] — это не просто борьба с политическими врагами Вийского, что ли, уезда, а борьба с объятый волной большевизма Россией... Отряды эмигрантов, известные нам, всюду при столкновении с Россией терпели поражение. Ясных определенных данных об организации крестьянства за Катунью у нас нет. Переправы через Катунь и перевозочные средства для нее в руках красных, а Катунь в это время, как и все другие горные реки, особенно бурлива и малодоступна. Район от Кош-Агача до Катунь — могила для всего верблюжьего и конского состава».

Кайгородов взрывается: «Историю пишет казачья пашка! К черту рапорты, к черту бумагомарание!» Сокольников — как это видно из дела — завладевает девятью пудами кайгородовского золота, соединяется с отколовшимся от Бакича полковником Кочневым и во главе отряда колеблющихся уходит к китайской границе искать место и повод для капитуляции. Сам Кайгородов бросает Бакича и устремляется к перевалам Горного Алтая.

В отряде атамана Казанцева происходит мятеж, превращая сего надменного вояку в приживала Бакича. А тысячи скитальцев, давно искавших возможности вернуться в Россию, получают эту возможность и, подняв над головой боевое оружие, идут домой, грозя всякой преграде...

С каменистого крутяка хорошо видны огнища костров на реке.

— Кто это? — спрашивает Бакич с седла.

— Идут в Россию, — отвечает разведчик и тоскующе глядит не на генерала, а на огнища.

— Кто, спрашиваю? Чьи люди?

— Не говорят, господин генерал.

— А, мать вашу!..

Цокающие копыта — звенящим тропотом по крупному галечнику.

— За мной!

Расстроенная кавалькада — горстка телохранителей и их господин с нашитым на чепрак посвечивающим серебром — скатывается с крутыка.

У чахлых кустиков — люди. Полулежа, увешанные оружием и безоружные, сидят над задымленными котелками, что-то черпают и скребут. Ни одного голоса навстречу генералу, ни почтительности, ни страха. Тут свое царство. Царство немых, ушедших в себя думой о родном доме.

— Кто старший? — требовательно спрашивает Бакич.

Молчание. Разве немое царство может подать голос?

— Кто старший?

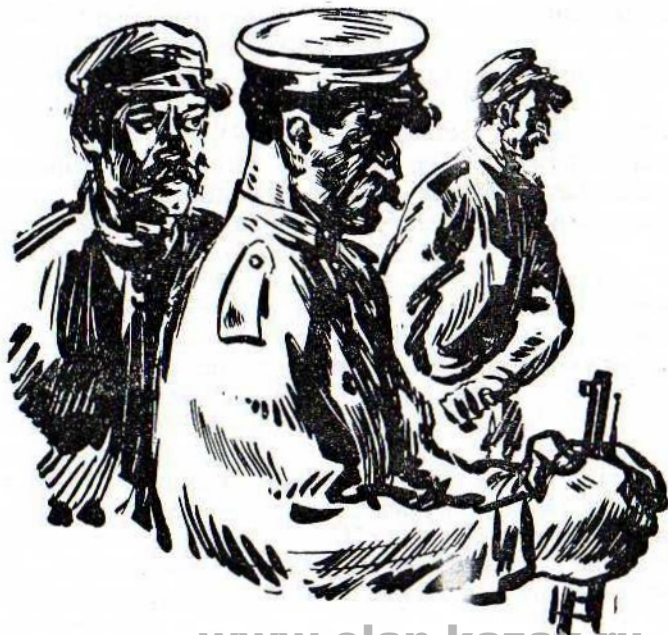
— Допустим, я...

Худой, длинный. С кривой шашкой и маузером. Темное лицо в щетине.

— А если без «допустим»?

— Тут, у реки — я... господин генерал.

— Кто такие? Куда ваш путь?



— Домой.— И после паузы, разъясняющим то-
мом: — В Россию.

— Тогда подстраивайтесь ко мне! Слышите? Я при-
зываю! Я тоже в Россию.

— Не подойдет, господин генерал. Мы с миром.
землю пахать.

— И все-таки с оружием?

— На случай.— Глянул на телохранителей, устало
насмешливо блеснул зубами в улыбке.— Да и по-
ядок. Ушли с оружием, придем с оружием.

— Дур-рак!

— Н-но, но, полегше... г-генерал!

Голос крепкий, командный. Люди у чахлых кусти-
ков поднялись, зазвякало оружие.

— Дурак, повторяю...

То же слово, но уже не тоном владыки: устремлен-
ные с чужбины на родину вдвойне сильнее и опасней.

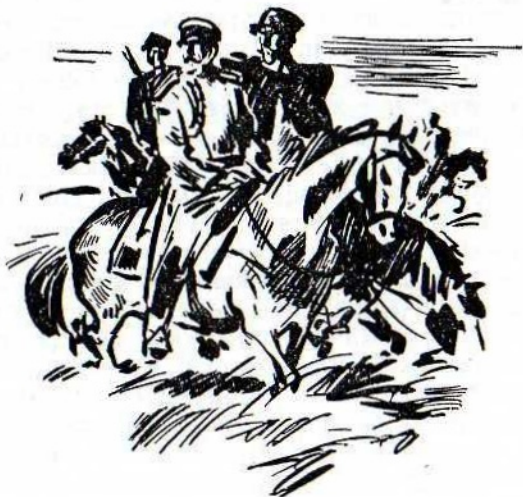
— Вас на первой же русской версте загонят за
проволоку. Всех, всех!

— Пусть.

— Денек пожрете баланду, а потом именем... и к
тенке!

— Пусть, говорю.

Бакич диким ерзающим взглядом обегает табунок
воей свиты.



— Слышите?

— А что «слышите»? — Старший бережно добывает откуда-то от сердца замусоленную газетку. — У нас вот ведь!

— Что это?

— Амнистия. — В глазах гордая выстрадавшая радость. — Газета из России. Кто идет подобру — тому свобода... А насчет старшего, так вон он! Смотрите на маковку... Во-он!

Темный, с лицом в щетине, махнул «амнистией» на противоположный крутяк. На нем тоже курился дым и блестели огнища.

— Поезжайте к старшему, он лучше скажет...

Следователь (Бакичу): Ну и что же? Поехали к старшему?

Бакич: Нет. Не видел смысла.

Следователь: Но ведь прежде...

Бакич: Прежде бывало по-другому.

Следователь: Понимаю. Присоединить к себе перебежчиков силой вы уже не решались. Но могли другое — присоединиться. Пойти с ними, с их амнистией и сложить оружие у советских пикетов.

Бакич: Белый флаг над корпусом? Это кончилось бы пролитием крови.

Следователь: Ну, ну... Открытых и на все готовых сторонников похода в ваших тысячах уже было немало. Я спрашиваю: на что вы рассчитывали, делая свой последний поворот к Урянхаю? Там вас ждал кто-нибудь?

Бакич: Мой штаб...

Следователь: Вы и ваш штаб, скажем точнее...

Бакич: Да, я и мой штаб полагали, что в Урянхае... словом, расчет был на русские поселения. На Русский дом, если хотите.

Русский дом, Русский дом! Что может быть поэтичнее этих двух слов для русского сердца, полного неуемной тоски по родине? Но разве ждет он, разве примет он изгнанника, идущего к нему с головешкой под жигателя? Домой идут с миром, виновные — с опущенной головой.

...В штабной юрте над рябым серым полем наклеенной на коленкор походной карты — склоненные головы восьми генералов. Адъютант Бакича, бесшумно двигаясь и непрерывно улыбаясь, ставит перед каждым монгольскую пиалу деготно-крепкого чая.

— Русский дом, как видите, — говорит Смольнигерванд, — явление совокупное. Он объединяет довольно значительное число русских поселков в Урянхае. Нам же сейчас могут предметно интересовать только два — Элегест и Атамановка. Особенно Атамановка — тут две наши мишени. Первая — люди и штаб Кочетова³⁸, партизанский отряд и приданный ему 440-й полк внутренней службы, и вторая — арсенал оружия, весь арсенал Русского дома. Господин Тимошенко, — жест в сторону нахохлившейся фигуры кулака Тимошенко; он за спинами синклита, одетый в нарядную дубу экспедиционных войск Японии, — господин Тимошенко не впустую проследовал с нами более семидесяти верст, он многое повидал, понял, чего ждет от него корпус, и теперь, после его комментария, карта Русского дома приобрела для нас качества земной тверди, холмов и утесов. Он жил в Русском Урянхае от рождения и, я думаю, прав, советуя использовать в нашем замысле щель между утесами в районе Элегеста. Конкретное же решение — я подытоживаю — таково. Мы бросаем Кочетову кость, разводим костры... — Начштабкор ищет карандашом на карте извив реки и помещает синим крестиком свернувшийся кружавчиком топографический знак. — Разводим костры вот здесь, имитируя количеством их бивуак главных сил корпуса. Имитируем мы также и нашу беспечность, и, таким образом, кость рисуется Кочетову легкой добычей. Он пытается схватить ее, но получает полновесный удар, и потому, подтягивая резервы, вынужден ввязаться в бой, который смещается нами в щель между утесами. В угаре мнимого успеха Кочетов вползает со своими людьми в стиснутый кряжами узкий многоверстный каменный желоб и с боем, который невозможно развернуть сколь-нибудь широко, все дальше и дальше уходит от Атамановки. Мы не торопимся отпихнуть пробку, так как не знаем, все ли его люди заняты добычей приманки, это одно, и другое — нам нужен арсенал. У нас нехватка в патронах. Короче, пока красные заняты своею костью, призраком глав-

ных сил корпуса, эти действительно главные силы, сосредоточенные вот здесь, — карандаш перекрещивает еще один кружавчик, — стремительным броском обрушиваются на Атамановку...

Осуществление замысла восьми генералов Смольнин-Терванд записал в своей тетради-висюльке такими словами:

«Декабрь

6, 7. Остановка в дальних горах и первое наступление: Огнев, Тимошенко, Федул Григорьев.

8. Енисей...»

Из названных им фамилий нам известна только одна — Тимошенко. Что же касается акцента на слове «первое», первое наступление, то и это, по-видимому, из области прожектов. Свою запись начштакор делал, надо думать, до того, как была «брошена кость». О втором же наступлении, с участием «действительно главных сил», уже не было охоты вспоминать...

Отряд Поползухина, поручика конно-азиатской дивизии барона Унгерна, Кочетов выследил и уничтожил в боевом братстве с тувинцами. В знак этого братства делегация пяти тувинских волостей вручила кочетовцам богатый по тому времени военный дар: три новеньких японских пулемета с большим количеством лент, пятьдесят карабинов китайского производства, сто шестьдесят трехлинеек с двадцатью тысячами патронов и тридцать казачьих шашек. Красные тувинцы — преданные, наблюдательные, осторожные и молчаливые — обслуживали Кочетова разведанными. Бакич делал шаг, и этот шаг уже вскоре становился известным красным.

Кочетов ждал «гостей», но, увидев на реке трещащие огни мгновенно возникших костров, принял малое за великое и увяз в многочасовом бое, углубляясь по каменному желобу все дальше и дальше от Атамановки. На кружавчике же сосредоточения главных сил Бакича кони уже били копытами, генералы сверяли часы, казаки подтягивали седла.

— Стоп! — крикнул Кочетов в разгаре боя.

И распорядился:

— Тут, в этой дыре, остаются две роты. Задача — вести активный непрерывный огонь и по возможности продвигаться дальше. Всем остальным — полчаса отдыха и марш-марш на Атамановку. Там наше место!

Что же случилось? Сигнал? Нет. Наблюдая за тем, как завязывался и протекал бой, Кочетов каким-то мгновенным озарением увидел ловушку, коварно поставленную господами генералами. И — круто назад.

Туманной морозной ранью 8 декабря авангард белой гвардии достиг первых домов Атамановки.

— Топите, бабы, бани! — базлало на скаку казачье под окнами атамановцев. — Пирогов! Самогонки! И чтобы сами, чтобы каждая, как цветочек!

Переpravляясь через дымящуюся полынью на реке Элегест, бакичинцы не уберегли пушек и пулеметов от воды, мороз сковал их наледью, одел куржаком. Но велика ли беда? Ведь Кочетов, как дурашливый жеребенок, прет сейчас в противоположную сторону. Атамановка пуста и беззащитна.

Воинство Бакича и не помышляло, что умница мужик уже сидел у него за спиной. В тяжелом непроглядном тумане он вихрем накатился на Бакича и стал в упор расстреливать арьергард атакующей лавины. Восемь генералов тотчас же поняли, что начисто проиграли бой мужику-лапотнику.

Взбираясь по круче на роняющем пену коне, Бакич видел за собой картину развала и гибели. Тут он оставил красным часть своего штаба, весь обоз, более двух тысяч пленными.

Конец!

Пленный солдат показывал в штабе партизанского отряда:

— Когда Бакич заехал на своем коне на мысок и глянул на побоище, он снял шапку и заплакал.

Так Русский дом встретил непрошеного гостя.

ВРАГ ДВУХ ГОСУДАРСТВ

«Декабрь, 8, Енисей...» Только это и оставил Смольнин-Терванд в своей тетради о черном часе разгрома. А следующей строкой: «Декабрь, 16. Речка, штаб в Уланкоме».

А где же капитуляция? Где Хатан-Батор-Ван, перед которым генералы сложили свое оружие? Начштакор так и не признался перед собой в полном крахе «похода на Русь». В деле нет и акта капитуляции. И тем не менее...

Вот послужной список некогда блестящего генштабиста, игрока, авантюриста с тонким деспотическим ртом. На первой странице: «Смольнин-Терванд». А на последней — закрывающая сей документ многозначительная запись:

«По сдаче оружия монгольским войскам Х[атан]-Батор-Вана корпус прекратил свое существование 1921.12.17».

Последние две цифры следовало бы переменить местами: 12 — это декабрь, 17 — число в декабре. Но все объясняет подпись: «генлейт Бакич». Великий службист не мог не закрыть послужного списка своего начштакора, но, делая это, безмерно волновался и поставил месяц на место числа...

Весть о разгроме Бакича летела над Россией, над Монголией, над Тувой.

Председателю Совета Министров Монгольского
Народно-Революционного Правительства.

Почтенный гражданин!

Имею честь сообщить, что мною только что получено сообщение Революционного Военного Совета 5 Советской Армии, что банда Бакича общими усилиями монгольской народно-революционной армии и частей русских советских войск ликвидирована. В период времени от 21 по 26 декабря с. г.³⁹ отряд генерала Бакича в Урянхае был разбит отрядом советских войск под командой тов. Кочетова, причем Бакич потерял до 500 чел. убитыми и ранеными, много пленных и обоз. Потерпев окончательное поражение, остатки банды Бакича во главе с самим Бакичем, преследуемые советскими войсками, бежали на Уланком, где были встречены частями народно-революционной армии под командой Хатан-Батор-Вана. Видя безвыходность положения, Бакич послал к Хатан-Батор-Вану делегацию для переговоров о сдаче. Хатан-Батор-Ван принял предложение генерала Бакича, и его отряду сдались до 700 чел. бандитов во главе с генералами Бакичем, Степановым, Кирхманом и др... От имени Революционного Военного Совета 5 Советской Армии и Представительства РСФСР в Монголии поздравляю Почтенное Монгольское Народно-Революционное Правительство с победой и полным уничтожением нашего общего врага...

Примите мое искреннее и глубокое к вам уважение.
Зам. представителя наркоминдела РСФСР Охтин.

Сообщение Совета Министров Монгольского Народного Правительства от 4 числа 12 луны 11 года Правления. Многими Возведенного — 2 января по европейскому стилю, за № 17.

Ныне получено радостное известие от военной разведки о том, что Красные войска совместно с войсками Хатан-Батор-Цзян-Цзюнь-Вана имели крупное столкновение с оперирующими

Кобдоском округе войсками белой партии, при этом было убито около 500 человек белых и взято в плен около 700 солдат генерала Бакича вместе с генералами Бакичем, Степановым и Кирханом. Причем было сообщено, что взятые в плен генералы и полковники имеют быть отправленными в Ургу вместе с обозом. По сему случаю Монгольское Правительство послало поздравление на имя Хатан-Батор-Вана нижеследующего содержания: «Благодаря содействию Великой России Вам совместно с Красной Армией удалось уничтожить белую банду и взять в плен Бакича и других, что является великой заслугой и вызывает искреннюю радость и восхищение рабочих и крестьян России и пастушьего населения Монголии. Благоволите взятых в плен Бакича и других отправить без задержки в Ургу вместе с обозом, чтобы этим положить предел всяким вражеским намерениям и дать возможность спокойно жить населению обоих государств».

Сообщая о вышеизложенном Почтенному Уполномоченному Охтину, имеем честь просить Вас по случаю уничтожения злоредного врага двух государств (выделено мною. — В. Ш.) передать от имени пастушьего населения Монголии искреннее поздравление Рабоче-крестьянскому населению России.

Подписи⁴⁰.

ОБВИНИТЕЛЬ

Прокурора на этом суде не было. Над столиком обвинения с ходатайствами и речью поднимался человек, не постигавший прежде тонкостей права.

«Мы с тревогой следили за выпадением весенних и осенних дождей, словно у каждого из нас была нива, иссохшая от бездождья».

Это его слова.

«Нас не раз охватывало сомнение, доживут ли эти истощенные голодом люди до весны и, если доживут, будут ли они в силах пойти на пашню».

В стране голод. Железнодорожные маршруты с сибирской рожью и пшеницей безостановочно бегут к Волге, к древним черноземам Центральной России.

«Настроение крестьян, не ожидавших такого количества семян, поднялось».

Только в канун процесса и в первые дни после него он печатает в периодике — «Правде», «Сибирских огнях», «Советской Сибири», «Сельской правде» и в других изданиях — не менее двадцати статей, передовых, проблемно-публицистических, обзорных, отзываясь на все, что животрепещет, становится неотступной злобой дня — российского и международного.

Пустился в свое короткое плавание нэп. Нужны верные лоции, чтобы управлять этим движением, — это его дело. Выходит первая книжка «Сибирских огней» — это его журнал.

Май двадцать второго. Сибирь постигает директивы XI съезда партии, готовит свои пушные клады — меха голубых песцов, соболей, лис, белок — для Нижегородской ярмарки, наступает на холеру, ремонтирует телеграфную линию, пашет и строит.

Сколько горячих дел у этого человека! И в мае же — трибуна Верхтриба, процесс над теми, кто дольше других поддерживал гражданскую войну.

За три недели до суда «Советская Сибирь» публикует по его почину полный текст знакомого нам кайгородовского послания Бакичу.

«В Москве будут судить ЦК ПСР (ЦК партии эсеров.—В. Ш.), в Новониколаевске предстоит суд над генералом Бакичем,— пишет он по этому поводу в передовой «Последние надежды». — Защищать эсеров приехал в Москву социал-предатель, королевский лакей и министр, один из палачей, скрепивший Версальский договор,— господин Вандервельде, вождь и герой II Интернационала. Мы ничего не имеем против того, чтобы он приехал и в Новониколаевск защищать генерала Бакича, ибо Бакич ведь один из тех, для кого широкая пропаганда «социалистов-революционеров» расчищала дорогу».

Вандервельде, тончайшему маэстро полемики, Цицерону из Брюсселя, как афишировали его на Западе, брошена перчатка. И в этом не только желание отчетливей выделить антинародную сущность «платформы» г-на Бакича. У обвинителя на процессе в «Сосновке» достало бы ораторского дара, глубины, артистизма аргументации, опыта и темперамента, чтобы одержать верх и в этом споре.

Ведь это был Емельян Ярославский, тогдашний член Сиббюро ЦК партии, профессиональный революционер и политкаторжанин в прошлом, крупный авторитет в практике большевистской пропаганды и агитации.

Общественное обвинение на процессе в «Сосновке» как раз и показало тогда и дар, и артистизм, и мудрость, и простоту этого замечательного оратора и человека. Закljučая, он говорил:

— Товарищи судьи! Помните, что эти люди являются остатками того кровавого потока, который прошел по Сибири. Народ не простит, крестьяне Сибири,

рабочие Сибири, которые видят на окраинах городов, каждый день видят еще не заросшие холмы, где лежат их близкие, зарытые, истерзанные, погубленные бакичами, смольниными и другими. Народ не простит нам, если мы простим этих людей.

Обвинение, речь были достойным вкладом Емельяна Ярославского в разоблачение злодейств и козней, открывшихся тогда перед судьями революции.

ТОЧКА

Теперь мы должны пройти в зал суда, на чтение приговора.

Зябко. И за дощатыми стенами театра, и здесь, под его крышей. Черемуха в цвету, а ночь дышит студено, луна по-осеннему стеклянна, и кажется, ищет на земле ледовые лужи. Почти два...

Люди выходят. Стоят кучками под соснами, курят и тут же возвращаются обратно. Когда комендант Верхтриба подает свою обычную команду и за судейским столом возникают фигуры судей, в зале те же две тысячи с лишком.

Председательствующий вынимает приговор из папки. Мы видим: он написан красными чернилами. Красное — цвет жизни. Красное всюду. Это и звезды на шлемах, и платочки делегатов, и скатерть, на которую легла папка. В «Красном стрелке», в «Красной деревне», в «Красном знамени» завтра расскажут и об этой холодной ночи, и о приговоре, постановленном ради общего блага.

Закона, на который можно было бы сослаться, еще нет. Лишь через неделю под сводами судов зазвучат тексты и наименования статей и установлений.

А сейчас:

«Ввиду изложенного и руководствуясь социалистическим правосознанием и революционной совестью, приговорил...»

Не все подведены под высший предел: люди различны, различна вина, в ком-то еще теплится человеческое.

Звучат аплодисменты. Сильные. Дружные. Но без театрального ликования. Это присяга к борьбе: революция свершилась, революция продолжается...

Примечания

¹ Анненков и начальник его штаба Денисов появились в СССР в 1926 г. Дело Анненкова и Денисова слушалось 25 июля—12 августа 1927 г. в Семипалатинске Военной Коллегией Верховного суда СССР. Поскольку подсудимые совершили чудовищно тяжкие преступления против социалистической революции и народа, суд не нашел возможным сохранить им жизнь. Оба подсудимых были приговорены к высшей мере наказания.

² Речь идет об Уфимской Директории, контрреволюционной организации, образованной в Уфе 23 сентября 1918 г. на белогвардейско-эсеровском совещании, имевшем целью объединить контрреволюцию восточных районов России и образовать «единое всероссийское правительство» на территории, захваченной белочехами. Болдырев — генерал, профессор академии генштаба, член «Союза возрождения России», один из пяти членов Директории. В судебное заседание Военной Коллегии вызывался по ходатайству Анненкова.

³ Административный совет — так называемый «деловой аппарат» Сибирского контрреволюционного правительства, учрежденный 24 августа 1918 г. Сибирская областная дума — контрреволюционное учреждение, образованное Чрезвычайным Сибирским областным съездом в декабре 1917 г. в Томске.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 47.

⁵ Восстание в Черном Доле близ Славгорода (Алтайский край), неточно именуемое иногда славгородским (сентябрь 1918 года), было обращено против белогвардейщины, возглавлялось большевиками и имело целью восстановление Советской власти. Материалы суда свидетельствуют, что повстанцы, организованно оставившие Черный Дол, в последующем боролись за Советы в рядах партизанской армии Сибири.

⁶ П. Иванов-Ринов — одна из одиознейших фигур колчаковского режима, каратель, авантюрист, в предреволюционные годы — «полицейский ярыжка», исправник, после революции — «деятель» монархического подполья в Омске, в правительстве Колчака — военный министр.

⁷ См. Г. Гинс «Сибирь, союзники, Колчак». М., 1921.

⁸ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 155.

⁹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 355.

¹⁰ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 356.

¹¹ Материалы Генуэзской конференции. М., изд. НКВД, 1922, стр. 146.

¹² Речь идет о первой, неудачной попытке анненковцев овладеть с. Андреевкой Лепсинского уезда. К этому времени Анненков владел территорией почти всего Семиречья (название это происходит от семи рек, впадающих в озеро Балхаш, ныне эта историко-географическая область входит в Казахскую и Киргизскую ССР). Лепсинская, или точнее Черкасская, оборона — это группа сел крестьян-поселенцев Лепсинского уезда Семиречья, выдержавшая полуторагодичную осаду белогвардейцев. Была связана с рабочими г. Верного (Алма-Ата) и партизанами Северного Семиречья («Горные орлы Тарбагатая»).

¹³ Братья Меркуловы — крупные спекулянты, получившие после переворота в Приамурье и падения Дальневосточной рес-

публики (26 мая 1921 года) «мандат власти» из рук японских интервентов и вожakov белогвардейщины.

¹⁴ А. Дутов — белогвардейский атаман, монархист, поднявший после Октября контрреволюционное восстание кулацких слобов оренбургского казачества против Советской власти. Созданный им в сообщничестве с меньшевиками и эсерами «Комитет спасения родины и революции» захватил 14 ноября 1917 г. власть в Оренбурге. Разбитый наголову красными, бежал с остатками своих войск в Семиречье, а затем и в Западный Китай.

¹⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 219.

¹⁶ Воспроизводится диалог автора с Михаилом Андреевичем Гуськовым, старейшим судебным работником Сибири, членом КПСС с 1925 г. Первое его приобщение к работе суда — очень условное, разумеется, — служба в команде охраны Верховного трибунала ВЦИКА, который рассматривал, в частности, и дело Бакича. В последующем М. А. Гуськов был судебным исполнителем Новониколаевского губернского суда, а с 1925 г. и до увольнения из рядов армии в запас в звании подполковника юстиции (1959 г.) — на судебной работе: народный судья, член и председатель линейного суда, член областного суда, член и председатель военного трибунала гарнизона, член военного трибунала округа.

¹⁷ Барон Унгерн фон Штернберг, из прибалтийских аристократов-помещиков, казачий офицер, служивший в Забайкалье, сначала у барона Врангеля, затем у атамана Семенова. В последние годы жизни начальник конной азиатской дивизии в чине генерал-лейтенанта. Авантюрист. Монархист абсолютистского толка. Ставленник японской военщины (на каждых 20 унгерновцев в дивизии состоял на службе один японский инструктор). После разгрома и пленения был судим в Новониколаевске (Новосибирске). Расстрелян 15 сентября 1921 г. по приговору суда.

¹⁸ Полное наименование суда, рассматривавшего дело, — Сибирское отделение военной коллегии верховного трибунала ВЦИКа.

¹⁹ Кайгородов, белоказачий офицер в чине есаула, вожак контрреволюционного повстанческого отряда на Горном Алтае. При паническом отступлении войск Колчака захватил в казначействе г. Бийска 300 пудов серебра и во главе отряда ушел в Монголию. Заигрывал с националистами Монголии и особенно Горного Алтая, с эсерами и крестьянскими союзами — с контрреволюционной Вандеей Сибири. Оставил по себе память чудовищными расправами с трудящимися. Убит 10 апреля 1922 г. при ликвидации его штаба отрядом чоновцев в с. Катанда.

²⁰ Заключительная часть приказа Унгерна № 15 от 21 мая 1921 г.

²¹ ПАНО, ф. 1, оп. 2, д. 297, л. 5.

²² Там же, л. 24. Урянхай, или Урянхайский край — территория нынешней Тувинской автономной республики.

²³ Тот же архив, ф. 1, оп. 2, д. 151, лл. 94—95.

²⁴ В. Боровский. Голые люди на голой земле, «Сибирские огни», 1926, № 5—6, стр. 142.

²⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 40.

²⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 40—41.

²⁷ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 42.

²⁸ В. Боровский. Голые люди на голой земле, «Сибирские огни», 1926, № 5—6, стр. 124.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же, стр. 125.

³¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 168.

³² О «Сибирском крестьянском союзе» и о так называемом петропавловско-ишимском контрреволюционном восстании см.: «История Сибири», Л., 1968, т. 4, стр. 154—155 и И. Павлуновский. Сибирский Крестьянский союз, «Сибирские огни», 1922, № 2, стр. 124—131.

³³ Воспроизводится текст письма Сокольниковского, имеющегося в деле на русском языке (Бакич получал его дважды).

³⁴ 13 Сибирская кавалерийская дивизия (комдив П. П. Собенников, комиссар Н. Ф. Евсеев) действовала в составе 73, 74 и 77 кавалерийских полков, 1 конной батареи, дивизиона и пулеметной сотни 75 Степана Разина кавалерийского полка.

³⁵ К. Байкалов — профессиональный революционер Карл Карлович Некундэ, латыш по национальности. С марта 1905 г. член Латышской СДРП — тогда он рабочий литейного завода в Риге. В 1906 г. за участие в нелегальном митинге рабочих большевик Некундэ ссылается на вечное поселение в Сибирь. Работая грузчиком на Лене, рабочим на телеграфе, забойщиком в Черемхове, ведет активную подпольную работу. Освобожденный из ссылки Февральской революцией, остается в Сибири. В последующие годы с оружием в руках отстаивает дело революции в Иркутске, Иркутской губернии, в Монголии и Якутии — командир партизанского отряда, комиссар, начальник экспедиционной группы, командующий вооруженными силами Якутии. Оставил довольно значительное литературное наследство.

³⁶ Циренов, или, точнее, Цыренов — талантливый армейский политработник С. Ю. Широких-Полянский. В 1948 г. Байкалов писал о Широких-Полянском: «Без него вряд ли я справился бы с теми огромными задачами, которые были поставлены перед монгольской опергруппой в 1921 году». Широких-Полянский погиб 4 мая 1922 г. в бою с белыми в 50 километрах от Амги.

³⁷ Советские боевые части вступили в Монголию по призыву Временного народного правительства этой страны и по приказу правительства РСФСР в июне 1921 г.

³⁸ С. Кочетов, командир организованного им в 1920 г. на территории нынешней Тувинской республики партизанского отряда. Ранее — помощник командира красноармейского отряда. Отряд его имел выборный орган управления — военный совет, жизнь и деятельность отряда регламентировались уставом товарищеской дисциплины. Кочетова отличали смелость, находчивость, незаурядное самообычное военно-тактическое искусство. Помимо довершения разгрома Бакича, в активе Кочетова и ряд других боевых акций, в частности, ликвидация авантюры унгерновского офицера Поползухина: отряд его был разгромлен, а сам он пленен.

³⁹ Разночтение с датами Смольнина-Терванда объясняется тем, что в своих записях он держался старого стиля.

⁴⁰ Оба письма воспроизводятся по копиям, извлеченным для дела Представительством Наркоминдела РСФСР по Сибири и Монголии.

Художник
В. К. КОЛЕСНИКОВ



ВЕНИАМИН КОНСТАНТИНОВИЧ ШАЛАГИНОВ

ПОСЛЕДНИЕ

Редактор Я. М. Кузнецов.
Художественный редактор В. П. Минно.
Технический редактор В. А. Лобкова.
Корректоры О. М. Кухно, А. П. Павлюнович, В. А. Просвирина.

Сдано в набор 24 января 1973 г. Подписано к печати 19 марта 1973 г. Формат 84×108¹/₃₂, бумага типогр. № 3. 7,77 печ. л., 8,03 изд. л. МН01638. Тираж 50000. Заказ № 1359. Цена 25 коп.

Западно-Сибирское книжное издательство, Новосибирск,
Красный проспект, 32.
Тип. изд-ва «Омская правда», Омск, пр. Маркса, 39.